



РЮНОСКЭ

АКУТАГАВА

ВОРОТА РАСЁМОН

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Рюноскэ Акутагава Ворота Расёмон

Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69923113

*Ворота Расёмон:
ISBN 978-5-17-160323-6*

Аннотация

В этот сборник вошли как принесшие Акутагаве мировую славу и автоматически ассоциирующиеся с его именем исторические рассказы и новеллы (включая легендарную «В чаще», послужившую основой для сценария бессмертного фильма «Расёмон» Куросавы), так и менее известные западному читателю, но почитающиеся на родине автора еще выше рассказы, действие которых происходит на фоне современной автору реальности Японии начала XX века, еще сохраняющей немало черт национального своеобразия, но жадно и стремительно «европеизирующейся». Отдельного упоминания заслуживают постоянно возникающие в творчестве Акутагавы реминисценции с классической русской литературой, которой он беспредельно восхищался и в которой наряду с родной историей нашел неисчерпаемый источник вдохновения.

Содержание

Ворота Расёмон	5
Обезьяна	14
Носовой платок	23
Mensura Zoili	35
Удача	43
Один день из жизни Оиси Кураноскэ	55
Рассказ о том, как отвалилась голова	72
Кэса и Морито	85
Муки ада	96
Учитель Мори	138
Конец ознакомительного фрагмента.	156

Акутагава Рюноскэ

Ворота Расёмон

Школа перевода В. Баканова, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Ворота Расёмон

Дело было на закате. Один слуга решил переждать дождь под воротами Расёмон.

Кроме него, под массивными воротами никого не было – лишь одинокий сверчок сидел на столбе, с которого облупилась красная краска. Ворота Расёмон находились в самом центре столичного города Киото, на улице Судзаку; можно было ожидать, что хотя бы несколько горожан – женщин в широкополых соломенных шляпах или мужчин в мягких шапочках-момиэбоси – захотят здесь укрыться. Но нет, кроме нашего слуги вокруг не было ни души.

За последние два-три года на столицу обрушилось множество бедствий: землетрясения, тайфуны, пожары, голод – так что пустые улицы стали делом обычным. В хрониках эпохи Хэйан¹ говорится, что в то время буддийские статуи и алтари разрушали, чтобы продать на дрова, и обломки, выкрашенные красной краской и позолоченные или посеребрённые, были свалены грудami у дороги. Пока столица была в упадке, никто не думал о том, чтобы чинить ворота Расёмон, и их, воспользовавшись общим запустением, облюбовали лисы, тануки² – а также воры. Дошло до того, что у ворот ста-

¹ Эпоха Хэйан – период в японской истории (794–1185). – *Здесь и далее примеч. пер.*

² Тануки – енотовидные собаки, в российских переводах обычно называемые

ли бросать трупы, которые некому было похоронить, и место стало внушать такой ужас, что теперь уже все обходили его стороной после захода солнца.

Вместо людей у ворот стали собираться огромные стаи воронья. Целыми днями они с карканьем кружили над высокой черепичной крышей, а по вечерам, в алых закатных лучах, рассыпались по небу, будто семена кунжута. Ворон, конечно же, привлекала мертвечина. Сейчас, впрочем, их видно не было – быть может, оттого, что час был уже поздний. Лишь на раскрошившихся каменных ступенях, где сквозь трещины проросла высокая трава, там и сям белел вороний помёт. Наш слуга, всецело поглощённый выскочившим на правой щеке прыщом, с рассеянным видом смотрел на струи дождя, примостившись в обтянутых линялых синих шароварах на верхней из семи ступеней.

«Слуга решил переждать дождь», – сказали мы. На самом деле наш герой понятия не имел, куда податься, когда непогода кончится. Будь всё, как обычно, его ждал бы хозяин – но тот несколько дней назад дал ему расчёт. Ведь, как мы помним, столица переживала трудные времена – и слуга, после долгих лет службы оставшийся без работы, являл собой ещё одну приметку времени. Так что правильное было бы сказать не «слуга решил переждать дождь», а «безработный слуга, застигнутый дождём, сидел, не зная, куда идти дальше».

«барсуками». По японским поверьям, тануки, как и лисы, могут быть оборотнями.

Сама погода вводила беднягу в меланхолию. Дождь зарядил ещё в час Обезьяны, то есть в четыре пополудни, и не думал прекращаться. Слуга пытался придумать, как бы заработать денег, чтобы не остаться завтра голодным, но в голову ничего не приходило, и он сидел, слушая – но одновременно буд-то не слыша – льющийся на улице Судзаку дождь.

Пелена дождя полностью заволокла ворота Расёмон. Издалека слышались раскаты грома. Опускалась ночная тьма, и, стоило поднять голову, казалось, будто тучи повисли на самом коньке двускатной крыши.

У человека в безвыходном положении мало выбора. Захочешь остаться честным – умрёшь от голода во рву или на обочине дороги, а потом тебя принесут к этим самым воротам и бросят, как собаку. А не захочешь... мысли слуги, всё время бегавшие по одной и той же колее, наконец дошли до этой развилки. Впрочем, «если» пока так и оставалось «если». Уже решив про себя, что теперь не до честности, он всё никак не мог через это «если» переступить – ему недоставало смелости, чтобы сказать себе: «Ну что ж, делать нечего – пойду воровать».

Он громко чихнул и с трудом поднялся на ноги. Ближе к ночи похолодало так, что хотелось погреться у огня. Под воротами теперь гулял ветер, сидевший на облупленном столбе сверчок куда-то исчез.

Слуга втянул голову в плечи, поднял ворот синего кимоно, надетого поверх жёлтого исподнего, и обвёл ворота гла-

зами, высматривая местечко поудобнее, где можно переночевать подальше и от ветра с дождём, и от чужих глаз. Тут, по счастью, он заметил широкую, выкрашенную той же красной краской лестницу, ведущую в надстройку над воротами. Вряд ли там наверху мог скрываться кто-то, кроме мертвецов. Осторожно, следя, чтобы меч с простой деревянной рукоятью не выскользнул из ножен на поясе, слуга поставил на нижнюю ступень лестницы ногу в соломенной сандалии-дзори.

Прошло несколько минут. Сжавшись в комок, будто кошка, и почти не дыша, на ступенях широкой лестницы в воротах Расёмон таился человек. Свет, падающий со второго этажа, осветил его правую щёку, где среди короткой щетины краснел налившийся прыщ. Наш герой думал, что наверху нет никого, кроме разве что мёртвых тел, но стоило подняться чуть выше, и оказалось, что там горит свет – и не просто горит, а движется! Это было понятно по тому, как дрожали тусклые жёлтые отблески, освещающая паутину в углах под крышей. Кто мог зажечь огонь над воротами Расёмон в эту дождливую ночь? Точно не простой человек!

Слуга бесшумно, будто ящерица, взобрался по крутой лестнице и очень осторожно, стараясь распластаться по ступенькам и держать голову пониже, заглянул на верхний этаж.

Слухи не врали: наверху валялись небрежно брошенные трупы – сколько, непонятно, потому что круг света был меньше, чем казалось снизу. Видно было только, что некоторые в

одежде, а некоторые обнажены. Мужские и женские, они раскинулись на полу с открытыми ртами и разбросанными руками, похожие на глиняных кукол – настолько сильно было сходство, что даже появлялась мысль: а точно ли они прежде были живыми людьми? Тусклый свет выхватывал из тьмы выступающие части – плечи, грудь, а всё остальное оставалось в глубокой тени; мертвецы навеки погрузились в молчание.

Слуга зажал нос, спасаясь от вони разлагающихся тел, но в следующий момент опустил руку, потрясённый настолько, что напрочь забыл о запахе.

Он заметил скорчившуюся среди трупов человеческую фигуру: это была старуха, похожая на обезьяну, совершенно седая, мелкая, тощая, в коричневом кимоно. Сжимая в руках сосновую лучину, она вглядывалась в одно из мёртвых лиц – женское, судя по длинным волосам.

Слуга забыл, как дышать: на две трети им владел страх и на одну – любопытство. Как написано в старой хронике, «волосы у него встали дыбом». Тут старуха воткнула лучину между досками пола и потянулась к голове трупа, которую рассматривала. Осторожно, будто обезьяна, ищущая блох у детёныша, она стала перебирать длинные пряди, и они, волосок за волоском, кажется, оставались у неё в руке.

По мере того, как старуха выдирала у трупа волосы, страх в душе слуги понемногу утихал, сменяясь жгучей ненавистью к старухе... впрочем, нет – не совсем так. Не к старухе

чувствовал он ненависть в тот момент, но к самому злу, и это чувство крепло с каждой секундой. Это был уже не тот человек, что сидел под воротами: пожалуй, сейчас, выбирая между голодной смертью и жизнью вора, он без колебаний выбрал бы смерть. Ненависть ко злу вспыхнула в его сердце так же ярко, как сосновая лучина в полу.

Конечно, наш герой не понимал, зачем старуха вырывает волосы, – а значит, строго говоря, не мог и судить о том, зло она творит или добро. Но ему достаточно было знать, что ненастной ночью над воротами Расёмон кто-то ворует волосы с трупов, – это само по себе казалось непростительным преступлением. Разумеется, он напрочь забыл, что ещё пять минут назад тоже собирался заделаться вором.

Изо всех сил толкнувшись ногами, он одним прыжком взлетел наверх и, схватившись за рукоять меча, предстал перед старухой. Та от неожиданности отшатнулась, распрямившись с быстротой спущенной тетивы.

– Стой! Куда? – прикрикнул он, преграждая ей путь: старуха в панике бросилась бежать и споткнулась о труп. Она попыталась было оттолкнуть слугу, но тот крепко схватил её, отказываясь отпустить. Некоторое время они молча боролись, окружённые мёртвыми телами. Однако исход схватки был предreshён. Слуга вывернул старухе руку – тонкую, будто цыплячья нога, лишь кожа да кости.

– Ты что тут делала? Отвечай, не то тебе конец! – Он выпустил пленницу и, одним махом выхватив меч из ножен,

сунул блестящий клинок ей под нос. Старуха не издала ни звука – руки у неё дрожали, плечи ходили ходуном от частого дыхания, глаза едва не вылезали из орбит, но она продолжала упрямо молчать, будто утратила дар речи. Глядя на неё, слуга вдруг осознал, что её жизнь сейчас полностью в его руках, – и от этого ненависть, столь яростно пылавшая в груди, приутихла, осталось только спокойное, горделивое удовлетворение, какое бывает, когда справишься с работой. Нависая над старухой, он обратился к ней помягче:

– Я не из городской стражи, я просто путник, который проходил мимо ворот. Связывать тебя не буду, ничего тебе не сделаю. Просто скажи, что ты делала в такой час здесь, над воротами.

Старуха ещё шире распахнула покрасневшие глаза, пристально, будто хищная птица, вглядываясь в лицо слуги, и, наконец, зашевелила тонкими губами, похожими на ещё одну морщину, вытянувшуюся под носом. В тонком горле заходил острый кадык. Хриплый голос напоминал воронье карканье:

– Волосы, волосы выдирала. Волосы на парики.

Ответ слугу разочаровал, оказавшись неожиданно обыденным. Но вместе с разочарованием в нём вспыхнула угасшая ненависть. Видимо, старуха тоже что-то почувствовала, потому что, сжимая в руках длинные пряди волос, которые успела надёргать, по-жабьи заквакала:

– Может, и плохо – волосы рвать у мертвецов. Да только

здесь такие мертвецы, что их не зазорно и обобрать. Вот эта, чьи космы, резала змею на куски длиной с ладонь и ходила к дворцовой охране продавать вместо сушёной рыбы. Если б не померла от чумы, до сих пор бы продавала. Хотя, если уж на то пошло, все её рыбу хвалили, стражники подчистую раскупали. По мне так она ничего дурного не делала. Деваться ей было некуда, а то бы от голода окочурилась. Значит, и я ничего дурного не делаю. Тут ведь либо так, либо голодная смерть. Торговка хорошо это знала – глядишь, и простит меня.

Слуга слушал её холодно, убрав меч обратно в ножны и держа левую руку на рукояти – правой-то он вновь принялся ковырять красный, налитый гноем прыщ на щеке. Но, пока он слушал, в сердце у него крепла решимость, которой не хватало прежде, когда он сидел внизу, под воротами. Теперь он чувствовал себя храбрым – только это была совсем не та храбрость, с которой он поднялся сюда и поймал старуху. Он больше не колебался: умереть от голода или стать вором? Нет, теперь и мысли о голодной смерти не возникало – не в чем тут было сомневаться.

– А и верно, – ухмыльнулся он, дослушав речь старой женщины. Вдруг оторвав руку от щеки, он быстро шагнул вперёд и крепко схватил пленницу за воротник: – Ну, тогда и на мне нет греха, если я подамся в грабители, не то с голоду ведь помру.

С этими словами он молниеносно сорвал со старухи ки-

моно. Та попыталась было вцепиться ему в ногу, но он с силой пнул её, и она упала на трупы. От лестницы слугу отделяло лишь пять шагов. Зажав под мышкой старухино коричневое кимоно, он мгновенно сбежал по крутым ступеням и скрылся в ночи.

Какое-то время старуха лежала, как мёртвая, но в конце концов её обнажённое тело медленно поднялось над другими телами. Охая и что-то бормоча, она в свете ещё горевшей лучины подползла к лестнице и оттуда, свесив короткие седые космы, вгляделась во тьму под воротами. Но мрак снаружи был непроницаемым, как в пещере.

Что случилось дальше со слугой, никому не известно.

Сентябрь 1915 г.

Обезьяна

Этот случай произошёл в самом конце длительного рейса, вместе с которым заканчивался и срок моей службы в качестве курсанта; на военных кораблях таких, как мы, называли «хангёку», будто учениц гейши. Наш корабль «А.» уже три дня стоял в порту Йокосука. Около трёх часов пополудни корабельный горн энергично протрубил построение для схода на берег. Действительно, настал черёд идти в увольнение тем, чьи посты были по правому борту, но они уже выстроились на верхней палубе. Тут прозвучал новый сигнал: общий сбор. Выходит, дело серьёзное. Что случилось, никто не знал, и мы, бросая друг на друга недоумённые взгляды, побежали к люку, ведущему наверх.

Когда все собрались, старпом объявил: «В последнее время у нас произошло несколько краж. Вчера на борт поднялся местный часовщик, и он сказал, что у него пропали двое неисправных серебряных часов. Поэтому сейчас мы проведём досмотр команды и личных вещей».

Про часовщика мы слышали первый раз, но про кражи на корабле было известно и раньше: у мичмана и двоих матросов пропали деньги.

Для личного досмотра матросы разделись догола. По счастью, в начале октября погода стояла ещё летняя, и на красных буйках в гавани играли солнечные блики, так что разоб-

лачаться, похоже, было не слишком неприятно. Не повезло только тем, кто собирался в увольнение на берег: они-то готовились хорошо провести время, и сейчас у них из карманов посыпались эротические картинки и презервативы. Виночники краснели, сустились — но поздно. Два-три человека получили от офицеров по шее.

На корабле служило целых шестьсот человек, так что процедура заняла много времени. Странное, наверное, зрелище: шестьсот голых мужчин, выстроившихся на верхней палубе. Имелась среди прочих смена кочегаров с чёрными от сажи лицами и запястьями; на них пало подозрение в последней краже, и они, сняв даже панталоны, стояли с самым мрачным видом, будто говоря: ищите, где хотите.

Пока это происходило на верхней палубе, на средней и нижней начали обыск. Курсантов расставили у каждого люка так, чтобы никто из команды не мог сойти вниз. Меня отправили досматривать вещи, и я вместе с товарищами обходил каюты, перетряхивая матросские карманы и рундуки. Подобным я занимался впервые. Задача не так проста, как кажется: нужно заглянуть в каждый угол, проверить каждую полку. Наконец украденные вещи нашёл мой приятель, дружкой курсант по имени Макита. И часы, и деньги обнаружались в рундуке у сигнальщика по имени Нарасима — а с ними и нож с синей перламутровой рукоятью, пропавший у юнги.

Всех, за исключением сигнальщиков, распустили. На палубе обрадовались до чрезвычайности. Особенно довольны-

ми выглядели кочегары, которых подозревали ранее. Однако, когда собрали сигнальщиков, оказалось, что Нарасимы среди них нет.

Я тогда был совсем неопытен и не понимал, что к чему, но на военных кораблях такое порой случается: краденое находят, а преступника – нет. Разумеется, он кончает с собой – большинство вешается в угольном трюме; изредка прыгают за борт. Однажды на корабле, где я служил, кто-то воткнул себе в живот нож. Но не умер, его нашли и спасли.

Вот почему, обнаружив отсутствие Нарасимы, офицеры встревожились. Особенно мне бросилось в глаза, как обеспокоен старпом. Про него говорили, что он герой войны, а тут вдруг аж в лице изменился. Со стороны это выглядело нелепо. Мы с другими курсантами обменялись презрительными взглядами: мол, старпом вечно разглагольствует о стойкости духа, а сам, чуть что, запаниковал.

По его приказу на корабле объявили поиск. Тут я, да наверняка и не только я, ощутил приятное волнение – сродни зевакам, увидевшим в городе пожар. Когда полиция отправляется задерживать преступника, всегда есть опасение, что он станет сопротивляться, но на военном корабле подобное представить невозможно. У нас огромное преимущество – субординация. Тем, кто не служил, наверное, не понять, какая пропасть пролегает между матросами и нами, будущими офицерами. Поэтому меня вся эта суматоха лишь взбодрила, и я чуть ли не бегом отправился в трюм на поиски.

Вместе со мной пошёл и Макита, тоже до крайности заинтересованный. Тронув меня сзади за плечо, он спросил:

– Эй, а помнишь, как мы ловили обезьяну?

– Да. Боюсь, сегодняшняя не такая ловкая будет.

– Не задирай нос, а то упустишь.

– Да ладно, обезьяна – она и есть обезьяна.

Обмениваясь прибаутками в этом роде, мы сошли вниз.

Обезьяну, о которой шла речь, наш начальник артиллерии получил в подарок от кого-то в Брисбене, когда корабль ходил в Австралию. Однако во время рейса, за два дня до того, как мы зашли в порт Вильгельмсхафен, обезьяна пропала, прихватив часы командира, что вызвало на корабле большой переполох. Помимо прочего, все, проведя долгое время в море, изнывали от скуки. И потому мы, во главе с начальником артиллерии, прямо в курсантской форме отправились обыскивать корабль сверху донизу – от машинного отделения до орудийных башен. Суета поднялась нешуточная. Во время рейсов члены команды часто получают в подарок или покупают разных животных, поэтому, пока мы шли, у нас под ногами путались собаки, вокруг кричали пеликаны, попугаи в висячих клетках неистово хлопали крыльями... В общем, обстановка была, словно в цирке начался пожар. Чёртова обезьяна вместе с часами каким-то образом выскользнула на верхнюю палубу, где попыталась вскарабкаться на мачту. Однако там работало несколько матросов, которые не дали ей уйти. Один сразу же ухватил беглянку за

загрибок и без труда поймал. Хотя в часах разбилось стекло, в остальном они не пострадали. Начальник артиллерии велел в наказание два дня не давать животному еды, но, как ни смешно, сам же и не выдержал, накормив её до истечения срока морковью и бататом со словами: «Жалко зверушку, такая грустная сидит». Так вот поиски Нарасимы напоминали нам погоню за обезьяной.

Я первым спустился на нижнюю палубу. Там, как вы знаете, ничего толком не разглядишь, в полумраке только вырисовывается металлическая арматура или окрашенные панели. И такое впечатление, что не хватает воздуха. Пройдя в потёмках пару шагов по направлению к угольному трюму, я чуть не закричал в голос: из грузового люка по пояс торчал человек. По всей видимости, он пытался вперёд ногами пролезть сквозь узкое отверстие. Лицо закрывали воротник тёмно-синей матросской блузы и бескозырка, да и света было слишком мало, так что я видел лишь силуэт до половины. И всё же я сразу понял: Нарасима хочет пробраться в трюм и там наложить на себя руки.

Я предвкушал свой момент славы – приятное, ни на что не похожее волнение, от которого кровь быстрее струится по жилам. Как мне его описать? Наверное, так чувствует себя охотник, когда после долгого ожидания с ружьём наизготовку наконец замечает добычу. Будто во сне, я прыгнул на неизвестного и молниеносно, как охотничья собака, вцепился ему в плечи, крикнув:

– Нарасима! – Ругать или оскорблять его я не собирался. Голос дрогнул и прозвучал слишком высоко. Конечно, передо мной был именно тот, кого мы искали.

Нарасима, по-прежнему по пояс в люке, не попытался высвободиться, а лишь безропотно поднял голову. «Безропотно», – говорю я, однако слово не передаёт того, что нужно. Это было движение человека, неспособного роптать, потому что вконец обессилел, – будто рея, сломанная ветром во время шторма и беспомощно повисшая с наступлением затишья. Подсознательно я ожидал сопротивления и, не встретив его, был даже разочарован. С некоторым раздражением я молча взглянул в обращённое ко мне лицо.

Такого выражения я больше ни у кого не видел – сам дьявол, наверное, разрыдался бы, узрев его. Впрочем, без объяснений вы едва ли сможете понять, о чём я говорю. Попробую описать: полные слёз глаза, непроизвольно подёргивающиеся, будто в судороге, мышцы в уголке рта – это, наверное, вы в силах вообразить. Прибавьте сюда бледность и испарину. Их тоже легко представить. Но какому писателю под силу передать словами ужасное впечатление, складывающееся из совокупности этих элементов? Положа руку на сердце, могу сказать вам, литератору, лишь одно: вид несчастного сигнальщика поразил меня прямо в сердце, будто удар молнии. Пожалуй, это было самое сильное потрясение в моей жизни.

– Ты, негодяй, что делать собрался? – машинально спросил я. И вдруг услышал этот вопрос, обращённым к себе: «А

ты-то сам, негодяй, что собрался делать?» Как ответить? «Я собираюсь обойтись с этим человеком, как с преступником». Кто может спокойно в таком признаться? Кто готов так поступить, видя перед собой то самое лицо? Сейчас, когда я рассказываю, кажется, что эти размышления длились долго, а на самом деле всё пронеслось в голове в мгновение ока. И тут...

– Мне стыдно, – услышал я тихо.

Сможете ли вы описать это? Фраза отдалась в моём сердце. Я ощутил её каждым нервом, словно укол иглы. Мне тоже захотелось сказать, как Нарасима: «Мне стыдно», – и склонить голову перед чем-то большим, чем я. Выпустив пленника, я поднялся на ноги и застыл возле угольного трюма в растерянности, как будто сам был пойманным преступником.

Что произошло дальше, вы, я думаю, можете догадаться и без объяснений. Ночь Нарасима провёл на гауптвахте, а на следующий день его отправили в военно-морскую тюрьму в Ураге. Как я слышал, заключённых там часто заставляют «подносить снаряды»: таскать железные ядра весом под двадцать килограммов между столами, стоящими на расстоянии в два с половиной метра. Считается, что для заключённых это самая мучительная пытка. У Достоевского в «Записках из мёртвого дома», которые я однажды брал у вас почитать, тоже говорится: «...если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одно-

го места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки»³. Удивительно, что заключённые в Ураге, с которыми проделывают подобное, самоубийств, похоже, не совершают. Схваченный мной сигнальщик отправился именно туда. Невысокий, робкий, тихий человек с веснушчатым лицом...

В тот день я вместе с другими курсантами стоял снаружи, опёршись на леера и глядя на закат над гаванью, когда Макита, подойдя ко мне, словно в шутку сказал:

— А ты молодец, поймал обезьяну!

Видимо, думал, что я втайне этим горжусь.

— Нарасима — человек. Не обезьяна, — резко ответил я и отошёл подальше. Остальные, должно быть, удивились: мы с Макитой дружили с самого поступления во флотскую академию и никогда не ссорились.

Я в одиночестве шагал по верхней палубе от кормы к носу и с теплотой вспоминал, как встревожился старпом, когда пропал Нарасима. Мы все видели в сигнальщике подобие обезьяны, и только старпом увидел человека — и проявил сострадание. Мы же со своими презрительными усмешками выглядели полными идиотами. Я склонил голову, чувствуя себя до странности пристыженным. Потом вновь зашагал по палубе в опускавшихся сумерках, теперь от носа к корме,

³ В оригинале приводится цитата из японского перевода этого произведения.

стараясь ступать потише. Мне казалось, что бодро стучать каблуками нехорошо по отношению к Нарасиме, запертому на гауптвахте.

Кражи он совершал, как выяснилось, из-за женщины. Не знаю, что за срок ему дали; думаю, минимум несколько месяцев. Ведь человеку, в отличие от обезьяны, рассчитывать на снисхождение не приходится.

Август 1916 г.

Носовой платок

Хасэгава Киндзо, профессор кафедры юриспруденции Токийского императорского университета, сидел в плетённом кресле на веранде своего дома и читал «Драматургию» Стриндберга.

Учитывая, что профессор специализировался на колониальной политике, выбор книги может показаться читателю неожиданным. Однако сей достойный муж, не только учёный, но и педагог, старался, если позволяло время, знакомиться с произведениями, занимавшими мысли и чувства современной молодёжи, даже если произведения эти не входили в сферу его научных интересов. Будучи по совместительству директором технического училища, он даже взял на себя труд прочитать любимые тамошними учениками «De Profundis» и «Замыслы» Оскара Уайльда. Потому неудивительно, что сейчас перед ним было сочинение о современной европейской драме и актёрском искусстве: некоторые из его студентов писали о Стриндберге, Ибсене и Метерлинке статьи и порой увлекались настолько, что решали в будущем пойти по их стопам и посвятить театру жизнь.

Каждый раз, дочитав очередную искромётную главу, профессор опускал книгу в жёлтом матерчатом переплёте на колени и рассеянно глядел на расписной бумажный фонарь, висящий на веранде. Любопытно: стоило отвлечься от

Стриндберга, и мысли неизменно обращались к жене, вместе с которой они этот фонарь покупали. Профессор женился во время учёбы в Соединённых Штатах, как можно было ожидать, на американке. Тем не менее, она любила Японию и японцев не меньше, чем супруг, – в частности, питала слабость к изящным традиционным вещицам. Так что светильник отражал вкусы не столько хозяина, сколько хозяйки дома.

Отрываясь от книги, профессор всякий раз думал о жене, бумажном фонаре и японской культуре, в этом фонаре воплощённой. По его мнению, за последние пятьдесят лет Япония проделала очень большой путь в плане материального развития – чего, однако, нельзя было сказать о развитии духовном. Более того, в сфере духовной даже наметился упадок. Что же могли предпринять современные мыслители для решения столь актуальной проблемы? Профессор приходил к выводу: единственный возможный ответ – уникальная японская философия, бусидо. Не стоило сбрасывать её со счетов как мораль зашоренных островитян. Напротив, многое в этой системе воззрений соответствовало духу западных христианских ценностей. Выбрав в качестве ориентира бусидо, современная японская мысль могла бы не только поспособствовать просвещению Японии, но и облегчить взаимопонимание между Востоком и Западом, а значит, послужить укреплению мира на Земле... Так профессор видел свою роль – стать связующим звеном между восточной и

западной цивилизациями. Ему было особенно приятно осознавать, что его жена и традиционный фонарь – а значит, и японская культура, которую тот символизирует, – пребывают в гармонии друг с другом.

Вновь и вновь смакуя это отрадное ощущение, профессор заметил, что мысли его всё больше отдаляются от Стриндберга. Он с досадой покачал головой и постарался сосредоточиться, вглядываясь в мелкий шрифт. В глаза бросился абзац: «Когда актёр находит подходящий способ выразить самую обычную эмоцию и достигает успеха, он начинает прибегать к этому приёму постоянно, независимо от того, насколько он уместен, – отчасти из-за простоты, а отчасти потому, что может таким образом повторить успех. Это называется манерой игры».

По натуре профессор был равнодушен к искусству, в том числе театральному. До сих пор его опыт ограничивался несколькими пьесами традиционного японского театра. Однажды в произведении, написанном его студентом, попало имя Байко – и профессору, гордившемуся своей эрудицией, оно оказалось совершенно незнакомо. Дождавшись удобного случая, он спросил у автора:

– А кто такой этот Байко?

– Байко? Это актёр Императорского театра в Маруноути, он сейчас играет Мисао в десятом акте «Тайкоки»⁴, – веж-

⁴ Пьеса театра кабуки о событиях времён феодальной раздробленности в Японии. Как и многие пьесы кабуки, целиком длится много часов; 10-й акт – наибо-

ливо ответил молодой человек в простых полосатых хакама – типичной одежде студентов.

Итак, никакого собственного мнения о сценических методах, которые остроумно комментировал Стриндберг, у профессора не было, поэтому книга интересовала его лишь в той мере, в какой удавалось найти в ней переклички с немногочисленными спектаклями, увиденными во время учёбы за границей. Иными словами, он читал её, как школьный учитель английского читает пьесы Бернарда Шоу – в поисках идиом. Впрочем, даже такой, несколько однобокий, интерес всё же остаётся интересом.

Расписной фонарь, свисавший с потолка веранды, ещё не горел. Профессор Хасэгава Киндзо, сидя в плетёном кресле, по-прежнему читал «Драматургию» Стриндберга. Думаю, по этим приметам читатель легко может представить себе, как долго тянулся летний день. Впрочем, всё это совсем не значит, что профессору было нечем заняться, и тот, кто истолкует мои слова подобным образом, намеренно извратит их смысл. Меж тем от Стриндберга пришлось оторваться – философское уединение нарушила горничная, сообщившая, что хозяина хотят видеть. Даже к концу самого длинного дня работа у профессора не иссякала.

Отложив книгу, он посмотрел на поданную ему мини-

более популярный. Оноэ Байко (реально существовавший актёр) специализировался на женских ролях, в частности исполнял роль матери главного героя в «Тай-коки».

атюрную визитную карточку. На кремовой бумаге тонким шрифтом значилось: «Нисияма Ацуко». Имя ему ни о чём не говорило. Встав с плетёного кресла, профессор, обладавший широким кругом знакомств, порылся в памяти. Увы, на ум по-прежнему никто не приходил. Заложив страницу визиткой, он оставил книгу в кресле, с беспокойством одёрнул домашнее кимоно из модного шёлка «мейсен» и вновь взглянул на покачивавшийся перед глазами фонарь. Едва ли кто-то станет спорить, что хозяин, который заставляет гостя ждать, переживает сильнее, чем гость в ожидании. Профессор же по преподавательской привычке был пунктуален всегда – тем более при встрече с незнакомой женщиной.

Точно рассчитав время, он открыл дверь в гостиную. Одновременно, едва он выпустил ручку двери, со стула поднялась женщина лет сорока. На ней было стального цвета кимоно – настолько изысканное, что профессор не мог оценить его в полной мере, – а поверх него накидка-хаори из чёрной кисеи. Неплотно запахнутая спереди, она открывала на поясе-оби нефритовую брошь в виде ромба. Пышный узел на затылке даже профессор, обычно не обращавший внимания на такие мелочи, опознал как «марумагэ» – традиционную причёску замужней женщины. Гостя, с типичным для японки круглым лицом и смугловатой, янтарного оттенка кожей, будто лучилась материнской мудростью. Взглянув на неё, профессор почувствовал, что где-то её уже видел.

– Хасэгава, – представился он с учтивым поклоном. Если

они и правда встречались, гостья наверняка об этом упоминает.

– Я мать Нисиямы Кэнъитиро, – хорошо поставленным голосом проговорила женщина и почтительно поклонилась в ответ.

Нисияму Кэнъитиро профессор помнил: один из тех, кто писал статьи о Стриндберге и Ибсене... вроде бы специализировался по немецкому праву и, даже поступив в университет, нередко заходил к профессору, чтобы обсудить философские вопросы. Этой весной юноша заболел перитонитом, и его положили в университетскую больницу; профессор пару раз ходил его навещать. Вот, значит, почему лицо женщины показалось ему знакомым. Тот жизнерадостный студент с густыми бровями был на неё удивительно похож – «будто две дыни с одного поля», как говорит японская поговорка.

– А, Нисияма-кун... – пробормотал профессор, словно сам себе, и указал на стул возле маленького столика. – Прощу вас.

Женщина, извинившись за внезапный визит, вновь вежливо поклонилась и присела на указанное место. В рукаве у неё мелькнуло что-то белое – вроде бы носовой платок, – и профессор тут же придвинул к ней корейский веер – для спасения от жары. Сам он занял место напротив.

– У вас прекрасный дом, – чуть натянуто произнесла женщина, обводя взглядом комнату.

– Ну что вы... Тут просторно, конечно, но мы его совсем

запустили... – Привыкший к подобным светским ремаркам профессор дождался, пока подошедшая горничная поставит перед гостьей прохладный зелёный чай, и поспешил перевести разговор. – Как дела у Нисиямы-куна? Есть ли новости?

– Да. – Женщина скромно сложила руки на коленях и немного помолчала, а потом заговорила тихо, очень спокойным, ровным тоном: – Именно из-за сына я и осмелилась вас побеспокоить. К сожалению, его не смогли спасти. Благодарю вас – вы очень много сделали для него во время учёбы...

Профессор, решивший, будто гостья стесняется, уже поднёс чашку – европейскую, для чёрного чая – к губам, предполагая, что пример подействует лучше, нежели настойчивые призывы угощаться. Но не успели его мягкие усы коснуться края чашки, как он услышал слова гостьи и застыл, будто громом поражённый. Уместно ли в такой ситуации отпить чаю? Или нет? Первые его мысли были именно об этом, а не о кончине несчастного юноши. Однако просто поставить взятую в руки чашку было бы нелепо. Наконец решившись, профессор одним глотком отхлебнул половину и, слегка нахмурившись, сдавленным голосом произнёс:

– Ну и дела...

– ...он часто говорил о вас, пока был в больнице, и потому я решила вас побеспокоить, несмотря на вашу занятость. Хотелось выразить...

– Нет-нет, что вы... – Посерьёзнев, профессор поставил чашку и взял вместо неё веер из синей вощёной бумаги. –

Ужасное несчастье. Перед ним открывалось большое будущее. А я давно в больницу не ездил – думал, наверняка уже поправился... Когда его не стало?

– Вчера как раз было семь дней.

– Это случилось в больнице?

– Да.

– Я действительно ошарашен...

– Во всяком случае, для него сделали всё возможное. Надо смириться с неизбежным. Хотя мне и трудно не сетовать, что так вышло...

Пока они беседовали, профессор с удивлением осознал: хотя женщина говорила о смерти сына, ничто в её поведении и манерах на это не указывало. Глаза были сухими, голос спокойным. Более того, она даже слегка улыбалась уголками рта. Сторонний наблюдатель, не слышавший её рассказа, наверняка решил бы, что она повествует о чём-то обыденном. Профессору это показалось странным.

...Много лет назад, когда он учился в Берлине, скончался Вильгельм Первый – отец нынешнего кайзера. Профессор узнал эту новость в излюбленной кофейне, но не придал событию особого значения. Когда же он, как обычно, с бодрым лицом и тростью под мышкой вернулся к себе в пансион, двое тамошних детей – двенадцатилетняя девочка в коричневой курточке и девятилетний мальчик в коротких тёмно-синих штанишках – бросились ему на шею и разразились слезами. Профессор, обожавший детей, совершенно не по-

нимал, в чём дело, и лишь гладил их по белокурым головкам, повторяя: «Что случилось?» Дети продолжали безутешно рыдать.

– Сказали, что умер дедушка-император! – признались они в конце концов, шмыгая носами.

Профессора тогда поразило, что даже такие малютки говорят о кончине монарха. Однако задумался он не только о связи между императорской семьёй и народом. Приехав на Запад, он не раз обращал внимание, как импульсивны тамошние жители и как открыто выражают эмоции – и каждый раз удивлялся, с особенной остротой чувствуя, что сам он – японец и последователь бусидо. Он по-прежнему не забыл – не мог забыть – тогдашнее ощущение: сочувствие, смешанное с недоверием. Теперь же его поразило как раз обратное: гостья не плакала.

Вскоре последовало и второе открытие.

От соболезнований по поводу случившегося несчастья они перешли к воспоминаниям о жизни юноши и уже готовы были вернуться к сетованиям о его безвременной гибели. Тут из рук профессора выскользнул веер и со стуком ударился о паркет. Неспешная беседа позволяла на миг отвлечься, поэтому он наклонился за обронённым. Веер лежал под столом – у самых ног гостьи, обтянутых белыми носками-таби и обутых в домашние тапочки.

Взгляд профессора случайно упал на колени женщины. В лежавших на них руках она сжимала платок. Конечно, са-

мо по себе это не было открытием. Однако руки эти сильно дрожали и – видимо, силясь подавить бурю чувств, – терзали клочок ткани, едва не разрывая его на части. И, наконец, профессор заметил, что вышитый кончик шёлкового платка тоже подрагивает между изящных пальцев, будто колеблемый ветром. На лице у женщины была улыбка, но всё тело её сотрясилось от рыданий.

Подобрав веер, профессор поднял голову. Его лицо приняло новое выражение – сложное и несколько преувеличенное: благоговение, словно он увидел нечто, не предназначенное для его глаз.

– У меня нет своих детей, но я понимаю, насколько вам, должно быть, тяжело, – тихим, прочувствованным голосом сказал он, театрально отводя взгляд, будто от яркого света.

– Благодарю вас. Увы, никакие слова не изменят того, что произошло.

Женщина наклонила голову. На ясном лице застыла непроницаемая улыбка.

Прошло два часа. Профессор принял ванну, поужинал, закусил на десерт черешней и вновь удобно расположился в плетёном кресле на веранде.

В долгие летние вечера часы до наступления сумерек тянутся бесконечно, и на просторной веранде с раскрытыми окнами ещё не стемнело. Профессор сидел в тускнеющем свете, закинув левую ногу на правую и положив голову на

спинку плетёного кресла; он рассеянно глядел на красную кисточку, украшавшую расписной фонарь. Хотя в руках у него была книжка Стриндберга, он так и не прочёл ни одной страницы. И неудивительно – из головы не шла беспримерная стойкость госпожи Нисиямы.

За ужином он рассказал всю историю от начала до конца жене, присовокупив панегирик японским женщинам, олицетворявшим философию бусидо. Жена, с её любовью к Японии и японцам, конечно, была впечатлена, и её супруг радовался, что нашёл в ней восторженного слушателя. Жена, недавняя гостья, бумажный фонарь – три этих объекта и те морально-этические концепции, которые за ними стояли, вновь и вновь всплывали в сознании профессора.

Он и сам не знал, сколько времени провёл за приятными размышлениями. Довольно долго; прервало их воспоминание о том, что его просили написать статью для одного журнала. Там под общим заголовком «Чтение для современной молодёжи» различные авторитетные фигуры рассуждали о нравственности. Профессор решил приступить к работе незамедлительно, используя сегодняшнее происшествие как отправную точку. Подумав об этом, он почесал в затылке.

Для этого из рук пришлось выпустить книгу. Вспомнив о ней, он раскрыл её вновь – на странице, которую заложил визитной карточкой. Подошедшая горничная зажгла над головой узорчатый фонарь, так что мелкий шрифт стало видно лучше. Углубляться в чтение профессор сейчас не собирав-

ся. Однако, опустив глаза, он упёрся взглядом в такие строки.

«В пору моей молодости, – писал Стриндберг, – у всех на слуху была мадам Хейберг⁵ и её платок – кажется, то было парижское изобретение. Суть приёма заключалась в «двойной игре»: на лице актрисы улыбка, а руками она рвёт платок. Сейчас мы назвали бы это трюкачеством».

Профессор положил открытую книгу на колени. Посреди страницы по-прежнему лежала визитная карточка Нисиямы Ацуко. Но теперь профессор думал не о ней. И не о собственной жене, и не о японской культуре. Он ощущал некую угрозу гармоничному сочетанию этих элементов. Конечно, есть разница между сценическими методами, о которых писал Стриндберг, и вопросами прикладной морали. И всё же в прочитанном было что-то, смущавшее безмятежный покой, который снизошёл было на профессора после вечерней ванны. Что-то, имевшее отношение к бусидо и выработанной раз и навсегда манере игры...

Пару раз недовольно встряхнув головой, профессор вновь поднял глаза и уставился на яркий фонарь, по абажуру которого вились осенние травы.

Сентябрь 1916 г.

⁵ Йохана Луиза Хейберг (1812–1890) – знаменитая датская актриса, жена театрального критика и драматурга Йохана Людвига Хейберга.

Mensura Zoili

Я сидел в кают-компании, а напротив меня, через стол, расположился странного вида мужчина...

Стоп. Я не был уверен, что нахожусь на борту судна: такой вывод я сделал потому, что за окном виднелось море, а сама комната показалась мне похожей на... кают-компанию. Но, может, это какое-то более привычное место? Впрочем, нет. Тогда не было бы такой качки. Я, конечно, не Киносита Мокутаро⁶ и не могу сходу определить амплитуду колебаний, но комната качается – совершенно точно. Это, в конце концов, можно проверить, посмотрев в окно на линию горизонта, которая то поднимается, то опускается. День пасмурный, поэтому раскинувшееся, насколько хватает глаз, море – смутного серо-зелёного цвета, но граница, где оно соединяется со свинцовым небом, прыгает, по-разному перерезая круглое окно. Вот проплыла птица, почти того же оттенка, что и тучи, – видимо, крупная чайка.

Вернёмся к странному человеку, который сидит напротив и со скучающим видом читает газету. На носу у него очки с толстыми стёклами. Густые усы. Квадратный подбородок. Такое ощущение, что я его где-то встречал, но никак не могу

⁶ Киносита Мокутаро (1885–1945) – современник Акутагавы, японский писатель, драматург и одновременно доктор медицины, снискавший признание в Японии и за рубежом.

вспомнить где. Судя по пышной всклокоченной шевелюре, передо мной какой-нибудь писатель или художник – правда, с этим образом совсем не вяжется его строгий коричневый костюм.

Какое-то время я внимательно рассматривал эту любопытную фигуру, потягивая из маленькой рюмки сладкий европейский ликёр. Мне было скучно, хотелось завязать разговор, но я всё не мог решиться – так неприветливо выглядел мой визави.

В конце концов господин с квадратным подбородком вытянул вперёд ноги и, подавляя зевок, сказал:

– Эх, скучно. – С этими словами он бросил на меня взгляд из-под очков и вновь вернулся к газете. Я окончательно уверился в том, что где-то его уже видел.

В кают-компании никого, кроме нас, не было.

– Скучно! – через некоторое время повторил странный человек. На этот раз он швырнул газету на стол и уставился на меня, рассеянно попивающего свой ликёр.

– Не хотите ли угоститься рюмочкой? – спросил я.

– О, спасибо. – Он склонил голову, но не сказал ни «да», ни «нет» на предложение выпить и продолжал: – Совсем измучился. Так и помереть можно со скуки, пока доберёшься.

Я не стал возражать.

– До Зоилии ещё больше недели, а судно у меня уже в печёнках сидит.

– До... Зоилии?

– Именно. До Республики Зоилия.

– А что, есть такая страна?

– Ну вы даёте. Неужели вы не слышали про Зоилию? Не знаю, куда вы направляетесь, но этот рейс всегда туда заходит.

Я был озадачен. Если уж на то пошло, я понятия не имел, как вообще оказался на этом судне. А название «Зоилия» мне точно не встречалось прежде.

– Правда?

– Конечно. Зоилия прославилась ещё в незапамятные времена. Вы, наверное, слышали, что именно здешний учёный когда-то раскритиковал Гомера. В столице и по сей день стоит великолепный обелиск в его честь.

Я удивился внезапно обнаружившейся эрудиции Квадратного Подборodka.

– Выходит, государство древнее?

– Ещё какое. По легенде, Зоилию когда-то населяли лягушки, но Афина Паллада превратила их в людей. Болтают, будто речь местных жителей похожа на кваканье, но правды в слухах нет. В исторических хрониках Зоилия впервые упоминается в связи с тем самым героическим учёным – обличителем Гомера.

– И что же, это и теперь просвещённая страна?

– А как же! Особенно известен столичный университет – он собрал в своих стенах лучших учёных страны и не уступает известнейшим университетам мира. А не так давно груп-

па тамошних профессоров разработала один прибор – измеритель ценности. По отзывам, настоящее чудо! По крайней мере, так пишет местная газета «Зоильские вести».

– А что делает измеритель ценности?

– Буквально это и делает – ценность измеряет. По большей части используется для романов, картин и тому подобного.

– Какую ценность?

– В основном – художественную. Хотя, конечно, можно любую ценность померить. В Зоилии прибор называли *Mensura Zoili*, в честь одного из славных предков.

– А вы эту диковину когда-нибудь видели?

– Сам прибор – нет, только иллюстрацию в «Зоильских вестях». На вид он как обычные весы: книгу или картину нужно положить на подставку. Немножко мешают переплёт или рама, но это не страшно – погрешность потом корректируется.

– Значит, полезная штука?

– Чрезвычайно полезная. Настоящий инструмент просвещения. – Квадратный Подбородок вытащил из кармана сигареты «Асахи» и, закулив, продолжил: – Больше можно не беспокоиться, что писатели да художники смогут нас надуть – как торговцы на рынке, которые вместо баранины нороят всучить собачатину. Тут сразу понятно – у произведения есть ценность, выраженная в цифрах. Думаю, в Зоилии поступили весьма разумно, когда без отлагательств оснастили

этими аппаратами таможенные посты.

– Это зачем же?

– Чтобы проверять картины и книги, которые ввозятся из-за границы, и запрещать импорт тех, которые ценности не имеют. Говорят, сейчас всё проходит контроль – любые произведения из Японии, Англии, Германии, Австралии, Франции, России, Италии, Испании, Америки, Швеции, Норвегии. Но что-то с Японией дела плоховаты. Хотя на наш – весьма доброжелательный – взгляд, там вроде бы есть неплохие писатели и художники.

Пока мы беседовали, дверь кают-компания распахнулась, и вошёл расторопный чернокожий парень в синей летней униформе. Он молча положил на стол стопку газет и мгновенно скрылся за дверью.

Квадратный Подбородок, стряхивая пепел, потянулся за газетой. Видимо, это и были «Зоильские вести». Лист покрывали странные значки, напоминающие клинопись.

Я вновь поразился познаниям собеседника, умеющего читать такие закорючки.

– Как всегда – только и пишут, что о Mensura Zoili, – сказал он, не отрываясь от чтения. – Вот, опубликовали таблицу ценности всей прозы, которая была издана в Японии в прошлом месяце. Даже пояснения от инженеров, проводивших измерения, имеются.

– А есть что-нибудь про писателя по фамилии Кумэ⁷? –

⁷ Кумэ Масао (1891–1952) – японский писатель, близкий друг Акутагавы; упо-

спросил я, думая о своём приятеле.

– Кумэ? Это роман «Серебро»? А как же, есть.

– И какова его ценность?

– Нулевая. Тут пишут, что вся книга – набор банальностей о том, как человек открывает для себя жизнь. Автор, мол, так торопится показать, будто всё на свете понял, что скатывается в низкопробную вульгарность.

Мне стало не по себе.

– И вы уж меня простите, но про ваш рассказ «Трубка» тоже кое-что имеется, – ухмыльнулся Квадратный Подбородок.

– И что же?

– Примерно то же самое. Банальщина, которая и так всем известна.

– Хм-м-м...

– А вот ещё пишут: что-то автор слишком плодовит...

– Ох, ох.

Теперь мне было не просто «не по себе» – я чувствовал себя полным дураком.

– Да, это всех касается: измеришь кого-нибудь из писателей или художников новым прибором – и всё, лопнул пузырь. Технику не обманешь. Это самого себя можно нахваливать сколько угодно, а тут сразу видно, кто чего стоит. И дифирамбы, которые писатели друг другу поют, не помогут. Попробуйте-ка лучше напрячься и создать что-то по-насто-

ящему ценное.

– Но как вы можете быть уверены, что оценка прибора точна?

– Достаточно положить на него шедевр – например, «Жизнь» Мопассана. Сразу выдаст самые высокие показатели.

– И другого способа нет?

– Другого – нет.

Я умолк: мне казалось, что в логике Квадратного Подборodka кроется какой-то изъясн. Но тут мне в голову пришёл ещё один вопрос.

– Значит, и произведения авторов Зоилии можно оценить?

– Это запрещено местным законом.

– Но почему?

– Ну как же – потому, что граждане Зоилии против. Страна с самых древних времён была республикой. Всё по принципу: *vox populi, vox Dei*⁸. – Тут Квадратный Подбородок улыбнулся с непонятным выражением. – Хотя поговаривают, что на измеритель уже клали местные произведения, и оценки вышли очень низкие. Тогда и правда получается дилемма: либо усомниться в показаниях прибора, либо в ценности своих работ, – и то, и другое удовольствие сомнительное. ... Впрочем, это всего лишь слухи.

Вдруг судно качнулось так сильно, что Квадратный Под-

⁸ Глас народа – глас Божий (*лат.*).

бородок свалился со стула, а на него опрокинулся стол. Перевернулись бутылка и рюмки, разлетелись газеты, линия горизонта в иллюминаторе и вовсе пропала из виду. Воздух наполнился звоном разбитой посуды, грохотом падающих стульев и ударами волн о днище корабля... Крушение! Мы с чем-то столкнулись! А может, под водой начал извергаться вулкан?..

...Я проснулся у себя кабинете, в кресле-качалке, где дремал после обеда за чтением «Критиков» – пьесы Сент-Джона Эрвина. Видимо, покачивание кресла и вызвало в моей голове образ судна.

Что до Квадратного Подбородка – он вроде походил на Кумэ... а вроде и нет. Я так и не понял, он это был или не он.

23 ноября 1916 года

Удача

Вход в мастерскую загораживала занавеска из грубой бамбуковой циновки, сквозь щели в которой была видна дорога. Здесь, на пути, ведущем в храм Киёмидзу, людской поток не иссякал никогда. Вот прошёл буддийский монах с гонгом. Вот женщина с подвязанным, чтоб было легче идти, подолом. Вслед за ней – вот диковинка! – проехала плетёная повозка, запряжённая жёлтым волом. Все они появлялись в просветах занавески то с одной, то с другой стороны и тут же исчезали вновь. И лишь одно оставалось неизменным: утоптанная земля на узкой улочке, нагретая тёплыми лучами полуполуденного солнца.

Молодой подмастерье, некоторое время наблюдавший за прохожими со своего места, вдруг, встрепenuвшись, обратился к горшечнику – хозяину мастерской.

– К богине-то Каннон, как я погляжу, всегда много людей ходит.

– Много, – проворчал тот – видимо, недовольный, что его отвлекают от работы. Впрочем, старик с маленькими глазами, вздёрнутым носом и задорным лицом и с виду, и по натуре был добрейшим существом. В холщовом кимоно и потрепанной мягкой шапочке-момизбоси, он будто сошёл со

свитка с картинами прославленного Тобы Содзё⁹.

– И мне бы туда каждый день ходить. Страсть как хочется выбиться в люди.

– Всё шутишь...

– Отчего ж? Если так можно удачу добыть, то и я, пожалуй, заделаюсь прихожанином. Хоть в храм начну бегать, хоть в молельне затворюсь и поклоны бить стану. Всё это ничего не стоит. С божеством, похоже, нетрудно сторговаться.

Высказав такие суждения, вполне отвечавшие его возрасту, юный подмастерье облизнул нижнюю губу и обвёл взглядом мастерскую. Та представляла собой хижину с соломенной крышей, за которой начиналась бамбуковая роща; внутри было до того тесно, что повернись – и упрёшься носом в стену. Однако по сравнению с оживлённой улицей снаружи здесь царили тишина и спокойствие, лишь лёгкий весенний ветерок обдувал красные глиняные бока горшков и кувшинов; казалось, загляни на сто лет назад – и увидишь то же самое. Даже ласточки словно бы избегали вить гнёзда под этой крышей...

Старик ничего не отвечал, и подмастерье заговорил вновь.

– А вы-то в ваши годы наверняка много разного повидали. И что же? Правду ли говорят, будто богиня Каннон дарует удачу?

⁹ Тоба Содзё (1053–1140) – японский живописец и буддийский монах, которому приписывается создание серий комических картин, иногда называемых первым японским комиксом-мангой.

– Правду. В прежние времена я, случалось, слышал о таком...

– А что бывало?

– Что бывало... сразу и не расскажешь. Да тебе, поди, и слушать будет неинтересно.

– Вот незадача. Меня, может, и тянет уверовать. Если б знать наверняка: мол, богиня удачу даёт, – я бы хоть завтра...

– Уверовать, значит, тянет. Или поторговаться тянет с божеством? – засмеялся старик, и у глаз его пролегли морщинки. Кусок глины, над которым он трудился, наконец обрёл форму горшка, и старик, видимо, пришёл в хорошее расположение духа. – Тебе в твои годы не понять замыслов богов и будд.

– И верно, не понять. Потому и спрашиваю у вас, почтенного человека.

– Не в том ведь дело, дарует ли божество удачу. А в том, хороши ли для человека его дары. Так сразу и не разобрать.

– Ну уж! Коли получишь дар от божества, то и будет ясно, хорош он или плох.

– Да вот именно этого вы, молодёжь, и не понимаете.

– Что хорошо, а что плохо, я знаю, а не понимаю того, про что вы говорите.

Солнце клонилось к закату, и тени прохожих на улице перед мастерской постепенно вытягивались. Вот, отбрасывая длинные тени, мимо бамбуковой занавески проплыли две торговки с лотками на головах. У одной в руке была ветка

цветущей сакуры – видно, несла в подарок домашним.

– Вот и с женщиной, которая на Западном рынке держит лавку с пеньковой пряжей, так же было...

– Да ведь я вам сколько твержу: расскажите, что знаете!

Какое-то время оба молчали. Молодой подмастерье пощипывал ногтями волоски на подбородке и рассеянно глядел на улицу; там на земле белели пятнышки, похожие на ракушки, – видно, лепестки, осыпавшиеся с давешней сакуры.

– Неужто не расскажете, а, дедушка? – сонным голосом проговорил он в конце концов.

– Ладно, раз ты просишь, есть у меня одна история. Только она, как водится, о старых временах.

С этими словами старый горшечник неторопливо начал свою повесть. Говорил он с особой медлительностью, свойственной только людям, которым не приходится печься о времени.

– Случилось это лет тридцать-сорок назад. Та женщина, когда была ещё юной девицей, обратилась к богине Каннон в храме Киёмидзу с молитвой: хочу, мол, жить в довольстве до конца своих дней. Просила она не по прихоти, но потому, что после смерти матери осталась одна-одинёшенька и не имела средств к существованию.

Покойная мать была мико – жрицей в храме Хакусю, и в прежнее время к ней шли толпы за предсказаниями, но потом поползли слухи, будто она водит шашни с лисами, и люди к ней ходить перестали. Женщина она была, хоть и рябая

от оспы, а дородная, свежая не по возрасту. Тут не то что лис, а и мужчина-то...

– Я бы лучше послушал о дочери, чем о матери.

– Ишь ты, ещё и привередничает! ...Мать померла, не оставив дочери ничего, и та выбивалась из сил, чтобы выжить. Девица она была красивая и разумная, но, одетая в одни лохмотья, стеснялась даже на богомолье ходить.

– Что же, и впрямь красавица была?

– И впрямь, красавица. И нравом добрая, и лицом пригожая. Думается мне, такая везде пришлась бы ко двору.

– Эх, жаль, давно это было...

Подмастерье потерябил рукава выцветшего кимоно. Старик, фыркнув от смеха, неторопливо продолжил рассказ. В бамбуковой роще за домом заливался соловей.

– Трижды по семь дней провела она в храме в неустанных молитвах, и вот приснился ей сон: мол, сегодня твоё желание исполнится. Среди других богомольцев был один горбатый монах, который непрерывно бубнил мантры. И так ей это надоело, что, даже когда задремала, в ушах всё равно звучал его голос – словно червячок в земле копошится... Вдруг в однообразном гуле послышались слова, и она отчётливо разобрала: «По дороге домой встретишь мужчину. Делай, как он скажет!»

Девица вздрогнула и проснулась. Монах по-прежнему читал мантры, но в них нельзя было разобрать ни слова. Невзначай обернувшись, она увидела в тусклом свете лам-

пады суровый и прекрасный лик богини Каннон, который с благоговением созерцала каждый день. Тут она чудесным образом вновь услышала: «Сделай, как скажет тот мужчина». Тогда уж девица уверилась, что с ней говорила сама богиня.

– Вон чего!

– В поздний час вышла она из храма и направилась по пологому склону вниз, к Пятой линии, – как вдруг её и впрямь кто-то схватил сзади. Вечер был весенний, тёплый, но стемнело рано, и потому она не видела ни лица этого человека, ни одежды. Только усов коснулась, пытаюсь вырваться. А ведь в эту ночь должно было исполниться её желание!

Девица спросила было его имя, но он не отвечал. Спросила, откуда он, – и вновь осталась без ответа. Похититель лишь велел ей делать, что говорят, и, не ослабляя хватки, потащил её вниз по склону холма, а оттуда – дальше на север. По дороге в этот час им не встретилось ни души – хоть плачь, хоть кричи.

– Ого! И что же дальше?

– Он приволок её в пагоду Ясака, и там они остались на ночь. Ну, про то, что случилось ночью, мне, старику, и рассказывать не стоит. – Рассказчик снова усмехнулся, и возле глаз его опять собрались морщинки. За это время тени на дороге стали ещё длиннее. Лепестки сакуры, видимо, гонимые лёгким весенним ветерком, теперь белели у порога, на гальке, которой был выложен ливневый жёлоб.

– Дело нешуточное, – отозвался подмастерье, щипая волосы на подбородке, и, будто вспомнив о чём-то, спросил: – И что же, этим всё кончилось?

– Если б этим кончилось, то и рассказывать было бы нечего, – возразил старик, продолжая возиться с горшком, который лепил. – На рассвете мужчина сказал: мол, они связаны судьбой, и раз так, то он хочет на ней жениться.

– Ишь ты!

– Если бы не сон, девица бы, может, и не согласилась, но тут подумала, что так рассудила Каннон, да и кивнула головой. Они на скорую руку обменялись чарками сакэ¹⁰, после чего мужчина удалился в глубину пагоды и принёс оттуда десять отрезов парчи и десять отрезов шёлка, сказав, что это ей на свадьбу. ... Тебе-то, поди, за таким не угнаться!

Молодой подмастерье лишь ухмыльнулся и ничего не ответил. Соловей в роще тем временем примолк.

– Мужчина сказал, что вернётся на закате и поспешно куда-то ушёл, оставив девушку одну. Тут она пригорюнилась. Будь ты хоть семи пядей во лбу, а тоже, небось, станешь невесел, попав в такую переделку. Пытаясь немного развеяться, она наугад прошла вглубь пагоды – и что же обнаружилось? Какие там шелка! Подымай выше – множество сундуков, обитых кожей, в которых лежали груды драгоценных камней и золотого песка. Уж на что храбра была девица, а тут и у неё сердце в пятки ушло.

¹⁰ Обмен ритуальными чарками сакэ – часть японского свадебного обряда.

«Если у него столько сокровищ, то он, без сомнения, разбойник и вор», – подумала она, и если до сих пор печалилась, то теперь в одночасье испугалась не на шутку – до того, что находиться там стало неважноту: а ну как её застанет стража?

Решившись бежать, она направилаь было к дверям, как вдруг из-за спины, где стояли сундуки, услышала хриплый оклик. Она вздрогнула – ведь думала, что в пагоде одна. Глядь – а среди мешков с золотым песком сидит, скорчившись, какое-то существо, то ли человек, то ли каракатица. Это оказалась скрюченная в три погибели старуха-монахиня лет шестидесяти – низенькая, морщинистая, с воспалёнными глазами. Неизвестно, разгадала ли она намерения девицы, но выползла на коленях вперёд и вкрадчивым голосом, который не вязался с её видом, забормотала приветственные слова.

Страха она не внушала, но девушка подумала, что сейчас убежать без шума не удастся, а потому, облокотившись на один из сундуков, через силу завела со старухой разговор. Выяснилось, что та служила у мужчины кем-то вроде кухарки, однако о том, чем её хозяин занимается, лишь загадочно молчала. Это девицу обеспокоило; к тому же старуха была тугоуха, и приходилось то и дело переспрашивать и повторять, так что девица совсем выбилась из сил – хоть плачь.

Так они беседовали примерно до полудня. Тут девица, рассказывавшая про цветущую сакуру в храме Киёмидзу и про мост, который построили на Пятой линии, заметила, что

удача ей улыбнулась: старуха – видимо, от старости, а может, потому, что собеседница медлила с ответами, – задремала. Услышав мерное дыхание, девица решила воспользоваться моментом и, на коленях подползя к выходу, приоткрыла дверь. По счастью, снаружи никого не было.

Если бы она просто сбежала оттуда, то на этом история бы и закончилась, но тут она вспомнила про подаренные ей ткани и решила осторожно прокрасться к сундукам и забрать их – да споткнулась о мешок с золотым песком и нечаянно коснулась старухино колена. Та вздрогнула, открыла глаза – и сперва, казалось, не могла сообразить, что происходит, но вдруг, как безумная, вцепилась девице в ногу и плачущим голосом быстро-быстро забормотала что-то невнятное. Разобрать можно было лишь одно: ежели пленница сбежит, то старуху постигнут ужасные кары. Но и девица понимала: если останется, ей несдобровать, а потому повиноваться не собиралась. Женщины сцепились друг с другом.

В ход пошли и руки, и ноги, и мешки с золотом – такую подняли они суматоху, что даже мыши, жившие в потолочных балках, едва не повываливались из гнёзд. Старуха – видимо, от отчаяния – проявила недюжинную силу. Но всё же молодость победила – и вскоре девица, запыхавшись и сжимая под мышками отрезки ткани, тихонько выскользнула из дверей пагоды. Монахиня к тому моменту уже затихла. Как я слышал после, труп её нашли в тёмном углу, лежащим навзничь, из носа стекала кровь, а голова была осыпана золотым

песком.

Выйдя из пагоды, беглянка постаралась держаться подальше от оживлённых улиц и направилась к подруге, что ютилась неподалёку от перекрёстка Пятой линии и Кёгоку. Та жила в большой нужде, но, получив в подарок отрез шёлка, принялась хлопотать: вскипятила воды, сварила кашу. У девицы наконец отлегло от сердца.

– Да и у меня отлегло!

Подмастерье вытащил из-за пояса веер и принялся ловко им обмахиваться, глядя на вечереющую улицу за бамбуковой занавеской. Там, громко смеясь и болтая, прошла компания из нескольких слуг, и тени их ещё тянулись по мостовой.

– Значит, так всё и закончилось.

– Нет! – преувеличенно затряс головой старик. – Пока она отдыхала у подруги, на улице вдруг собралась толпа, слышались голоса: «Глядите! Глядите!» Поскольку девице нашей было что скрывать, сердце у неё сжалось от страха. А ну как тот вор пришёл ей отомстить? Или стража явилась арестовать её? До того она перепугалась, что и каша уже не лезла в горло.

– Ещё бы!

– Тут она выглянула сквозь приоткрытую дверь и увидела среди толпы внушительный отряд из нескольких стражников вместе с приставом, которые волокли единственного пленника – связанного, в разорванной одежде и без шапки.

Как оказалось, они схватили преступника и теперь направлялись к его логову в поисках награбленного. И вообрази-ка – вор оказался тем самым человеком, что притащил её ночью в пагоду Ясака. При виде него у девицы отчего-то на-вернулись на глаза слёзы. Она сама мне рассказывала. И не оттого, мол, что успела в него влюбиться – но, когда увидела его связанным, отчего-то преисполнилась такой жалости к самой себе... Надо сказать, и я, когда услышал эту историю, тоже призадумался.

– О чём же?

– О том, что непростая это штука – молитвы богине Каннон.

– Но, дедушка, ведь та женщина как-то устроилась в жизни?

– Не то что как-то устроилась, а живёт теперь припеваючи, в полном довольстве. Всё благодаря тому, что продала ткани. В этом богиня Каннон обещания не нарушила.

– Так, выходит, всё к лучшему обернулось?

Пока они разговаривали, лучи солнца снаружи окрасились в золотые закатные тона. Ветер тихонько шелестел бамбуковой занавеской. Поток прохожих, кажется, на время иссяк.

– Да, если считать, что убить человека и стать женой вора – это к лучшему.

Подмастерье, заткнув веер за пояс, поднялся на ноги. Старик уже смывал глину с рук водой из кувшина. Оба слов-

но бы чувствовали смутное недовольство и весенним днём, подходившим к концу, и настроем собеседника.

– Как бы то ни было, ей повезло.

– Всё шутишь...

– Ни капельки! Вы и сами, должно быть, так думаете.

– Я-то? Я думаю, что такая удача и даром не нужна.

– Да ну? А я бы только благодарен был!

– Ну, сходи да помолись богине Каннон.

– А что же – вот прямо завтра и пойду!

Декабрь 1916 г.

Один день из жизни Оиси Кураноскэ

Яркий солнечный свет пробивался сквозь плотно закрытые ставни-сёдзи, и тень старой узловатой сливы на них, раскинувшаяся от края до края окна, казалась чёткой, будто рисунок тушью. Оиси Кураноскэ¹¹, от рождения наречённый Ёсикацу, прежде вассал князя Асано Наганори, а ныне узник княжеского дома Хосокава, сидел перед сёдзи очень прямо, со сдвинутыми коленями, погрузившись в чтение. Читал он, вероятно, один из свитков «Троецарствия», который одолжил у кого-то из приближённых Хосокавы.

Из девяти человек, обычно помещавшихся в этой комнате, Катаока Гэнгоэмон был в отхожем месте, Хаями Тодзаэмон отправился в комнату к младшим по рангу самураям и ещё не успел вернуться. Остальные шестеро – Ёсида Тюдзаэмон, Хара Созэмон, Масэ Кюдаю, Онодэра Дзюнай, Хорибэ Яхэй и Хадзама Кихэй – либо писали письма, либо то-

¹¹ Оиси Ёсикацу (др. вариант прочтения имени – Ёсио) (1659–1703) – старший из «сорока семи ронинов» – группы самураев, которые отомстили за своего сюзерена Асано Наганори, убив его врага Киру Ёсинаку, и стали героями многочисленных художественных произведений (собираательно известных как «Тюсингура»). Оиси Ёсикацу называют также Оиси Кураноскэ, где «кураноскэ» – самурайский титул. В рассказе Акутагавы описывается период, когда сорок семь ронинов во главе с Оиси Кураноскэ уже совершили свою месть и находились под надзором князя Хосокавы в ожидании приговора сёгуна.

же сосредоточенно читали, не замечая игры света и теней на сёдзи. Все они были людьми немолодыми – никого младше пятидесяти – и, быть может, потому в этот весенний день в комнате стояла такая тишина, что по коже пробегал холодок. Иногда раздавалось покашливание, но и оно едва колебало воздух, в котором был разлит запах туши.

Кураноскэ поднял глаза от «Троецарствия» и, притворяясь, будто смотрит вдаль, тихонько протянул руки к стоявшей рядом жаровне. Внутри, под металлической решёткой, красиво рдели тлеющие по краям угли, бросая отсветы на окружавшую их золу. Вместе с теплом от огня Кураноскэ почувствовал, как его сердце заново наполняется тихим удовлетворением. То же самое он ощущал в прошлом году, в пятнадцатый день последнего месяца, когда они с товарищами отомстили за господина и удалились в храм Сэнгакудзи, где он написал:

Вздых облегченья:
Вот и свободна душа,
Путь мой окончен.
Чистого света луны
Тучам уж не омрачить.

Покинув Ако, замок своего господина, он провёл почти два года в тревогах и заботах, готовя план мести. Терпеливо выжидать удобный случай, сдерживая рвущихся в бой товарищей, – было само по себе нелегко. Кроме того, за каждым

его шагом следили лазутчики, засланные вражеским кланом. Ему приходилось изображать никчёмного гуляку, чтобы их обмануть, – и одновременно развеивать сомнения товарищей, чтобы не приняли такой образ за чистую монету. Вспоминая тайные сходки в Ямасине и Маруяме, он чувствовал, как в сознании воскресают тогдашние тревоги. ...Но так или иначе – в конце концов они достигли цели, к которой стремились.

Теперь оставалось только одно: дожидаться высочайшего приговора для всех сорока семи. Впрочем, это наверняка не займёт много времени. Да. Путь пройден. И дело не только в том, что они отомстили. Месть была практически совершенной – полностью соответствующей его представлениям о должном, и потому сердце Кураноскэ грело не только сознание исполненного долга, но и то, что удалось воплотить в жизнь свои нравственные идеалы. Никакие угрызения совести не тревожили его душу – не было причин стыдиться ни своих целей, ни средств. Может ли радость быть более полной?

При этой мысли лоб Кураноскэ разгладился. Со своего места у жаровни он окликнул Ёсиду Тюдзаэмона, который, видимо, утомившись чтением, опустил книгу на колени и чертил по ней пальцем знаки, будто практикуясь в каллиграфии.

– Жарковато сегодня.

– Да уж. Если так сидеть, от жары спать хочется.

Кураноскэ улыбнулся: ему вспомнилось хокку, которое в

первый день нового года сложил Томимори Сукээмон, захмелев после трёх выпитых чарок сакэ:

В первый день весны
Выспаться не зазорно
И самураю.

Строчки в точности отражали его нынешнее настроение.

– Когда дело сделано, душа расслабляется.

– Оно, конечно, верно.

Тюдзаэмон взял трубку и деликатно затянулся. Голубоватый дымок поднялся лёгкой струйкой в послеполуночном свете весеннего дня и тихо растаял.

– Разве мы думали, что станем проводить дни в покое, как сейчас?

– И правда. Я и не мечтал увидеть ещё одну весну.

– Похоже, нам повезло.

Они переглянулись: в глазах у каждого плескалась довольная улыбка. Кураноскэ, наверное, мог бы сидеть так вечно, наслаждаясь теплом весеннего дня и мыслями о собственных успехах, если бы в этот момент на сёдзи позади него не легла тень, превратившаяся в мощную фигуру Хаями Тодзаэмона, который в следующий момент вошёл в комнату. Вместе с широкой улыбкой раскрасневшегося Тодзаэмона в их мирок бесцеремонно вторглась реальность. Впрочем, двое собеседников об этом пока не знали.

– У младших, похоже, весело, – сказал, вновь затягиваясь,

Ёсида Тюдзаэмон.

– Сегодня за старшего Дэнъэмон – они отлично развлекаются беседой. Катаока недавно туда заглянул, да так и засел у них.

– Вот оно как! То-то я думал, куда он подевался, – засмеялся Ёсида и закашлялся от дыма. Онодэра Дзюнай, который, не отрываясь, что-то писал, удивлённо поднял было голову, но тут же вновь опустил взгляд и забегал кистью по бумаге, – видимо, сочиняя письмо жене в Киото.

– Что же там за разговоры такие занимательные? – усмехнулся Кураноскэ. Вокруг глаз у него пролегли глубокие морщины.

– Да больше пустое, всякая болтовня. Разве только когда Тикамацу рассказывал про Дзиндзабуро¹² – у Дэнъэмона даже слёзы на глаза навернулись. А кроме этого... Правда, вот ещё новости интересные. Говорят, после того, как мы расправились с Кирой, в Эдо вошла в моду месть.

– Ха, ну и дела! – Ёсида посмотрел на Хаями Тодзаэмона озадаченно. Тот по непонятной причине пересказывал эти слухи с большой гордостью.

– Я уже слышал пару подобных историй, но самая смешная – та, что произошла на Минами-Хаттёбори, в квартале

¹² Дзиндзабуро – слуга Тикамацу Канроку, одного из сорока семи ронинов. За несколько дней до запланированной мести Тикамацу уволил слугу, но тот, не желая покидать хозяина, попытался совершить самоубийство. После того, как враг был убит, Дзиндзабуро встретил самураев с провизией и накормил, чтобы подкрепить их силы.

Минато-мати. Сперва, значит, тамошний торговец рисом поругался в бане с соседом-красильщиком. Поссорились из-за какой-то мелочи – может, один на другого кипятком брызнул или вроде того. А красильщик возьми да и побей торговца шайкой. Тогда один из подмастерьев в рисовой лавке затаил обиду, подкараулил красильщика вечером и воткнул ему в плечо крюк – да ещё с криком: «Вот тебе за моего господина!» – со смехом рассказал Хаями, помогая себе жестами.

– Но ведь это возмутительное бесчинство!

– Красильщик, похоже, серьёзно ранен. Но удивительно то, что вся округа на стороне подмастерья. И в Торитё на Третьей улице была подобная история, и в Синкодзи-мати на Второй улице, и ещё где-то, не припомню... В общем, в куче мест. Все нам подражают – ну не смешно ли?

Они с Ёсидой переглянулись и захохотали: происшествия, конечно, были пустяковыми, а всё-таки приятно знать, как подействовало их мщенье на жителей Эдо. Но Кураноскэ, прижав руку ко лбу, молчал – и, единственный из присутствующих, сохранял равнодушный вид. Рассказ Хаями Тодзаэмона, как ни странно, слегка омрачил его безоблачное настроение. Конечно, Кураноскэ не собирался брать на себя ответственность за всё, что так или иначе могло проистекать из их поступка. Они отомстили, а в Эдо принялись им подражать – что ж! Его совесть чиста. И всё же он чувствовал: на сердце уже не так по-весеннему тепло.

По правде говоря, его немного удивляло то, как отозва-

лось сделанное ими, – будто круги пошли по воде. Но, хотя в обычных обстоятельствах он бы тоже посмеялся вместе с Хаями и Ёсидой, сейчас рассказанная история заронила в его – ещё недавно исполненную довольства – душу зёрнышко досады. Быть может, довольство это имело настолько нескромную природу, что, вопреки здравому смыслу, втайне подразумевало одобрение любых собственных деяний и их последствий? Конечно, сам Кураноскэ не препарировал свои чувства подобным образом – и близко нет! Он ощущал лишь, что весенний ветерок повеял неожиданным холодом, и это было ему неприятно.

Впрочем, остальные двое не обратили никакого внимания на то, что он не смеётся. Напротив, добряк Тодзаэмон определённо счёл, что Кураноскэ не меньше него самого заинтересовался разговором. Иначе он, вновь отправившись в покои к младшим, не привёл бы с собой Хориути Дэнъэмона, вассала дома Хосокава, нёсшего в тот день караул. А между тем так и случилось: Хаями Тодзаэмон, который не откладывал дела в долгий ящик, кивнул Ёсиде Тюдзаэмону и, сказав: «Приглашу его сюда», – мигом раздвинул перегородки-фусума и беспечно направился за товарищем. Вскоре он, по-прежнему сияя улыбкой, вернулся в сопровождении грубоватого местного самурая.

– Простите, что отвлекаем вас, – тоже улыбнувшись, вежливо сказал тому Тюдзаэмон вместо молчавшего Кураноскэ: с тех пор, как они здесь оказались, между ними и Дэнъэмо-

ном, с его простотой и прямоотой, установились добрые, тёплые отношения, будто они знали друг друга давным-давно.

– Господин Хаями велел непременно к вам зайти, вот я и решился заглянуть. Надеюсь, не помешал.

Дэньэмон уселся и оглядел собравшихся, пошевелив густыми бровями на загорелом лице с таким выражением, будто вот-вот расхохочется. Теперь уже все в комнате отложили книги или письма и стали его приветствовать. Поклонился вежливо и Кураноскэ. Особенно забавно было наблюдать Хорибэ Яхэя: тот успел задремать с очками на носу, читая «Тайхэйки»¹³ и, вдруг разбуженный, второпях сдёрнул их с носа, чтобы поклониться, как полагалось. Это, похоже, очень развеселило Хадзаму Кихэя, который, отвернувшись к стоявшей рядом ширме, давился смехом.

– Дэньэмону с нами, стариками, наверное, неинтересно, потому он так редко к нам заглядывает, – сказал Кураноскэ с необычной для себя мягкостью: довольство, хоть и померкнув отчасти, ещё теплилось в его сердце.

– Нет, что вы. Просто меня то и дело кто-нибудь останавливает да отвлекает, пока ответишь каждому – уже день прошёл...

– Мы тут только что узнали про весьма любопытные истории, которые вы рассказывали, – вмешался сидящий рядом с ним Ёсида Тюдзаэмон.

¹³ «Тайхэйки» – японский исторический феодальный эпос второй половины 14 в.

– Любопытные истории – это...

– Про то, как в Эдо вошла в моду месть. – с улыбкой сказал Хаями Тодзаэмон, переводя взгляд с Дэнъэмона на Кураноскэ и обратно.

– А!.. Странные существа – люди. Вот их впечатлила ваша верность долгу, и мгновенно все, даже обычные горожане, простолюдины, захотели вам подражать. Но, быть может, это хоть немного остановит падение нравов. Оно и правильно – а то в последнее время в моде такие вещи, что глаза бы не глядели, – то дзёрури¹⁴, то кабуки.

Разговор готов был пойти в неинтересном Кураноскэ направлении, и он, желая его осторожно переменить, повёл речь намеренно серьёзно и как бы принижая себя:

– Благодарю вас за добрые слова, но, боюсь, гордиться нам особенно нечем. – Сказав это, он обвёл взглядом собравшихся. – У клана Ако много вассалов, но все, кого вы здесь видите, занимают невысокое положение. Сперва нас поддерживал и управитель земель, Окуно Сёгэн, но потом он передумал и вышел из нашего союза. Недостойно, что и говорить. Помимо этого – Синдо Гэнсиро, Кавамура Дэнбэй, Кояма Гэн-годзаэмон – они выше рангом, чем Хара Созэмон, а Сасаки Кодзаэмон – выше, чем Ёсида Тюдзаэмон, но, когда дошло до дела, все они отказались. И ведь среди них были и мои

¹⁴ Дзёрури – жанр речитативного пения, также использовался как музыкальное сопровождение для кукольного и обычного театра. В описываемую эпоху, как и упомянутый далее театр кабуки, дзёрури считался «низким» жанром.

родственники! Теперь вы понимаете, почему я говорю, что гордиться нечем.

После слов Кураноскэ атмосфера в комнате изменилась и весёлость вдруг как рукой сняло. Выходило, что беседа, как он и хотел, повернула в другое русло. Но было это приятно самому Кураноскэ? Большой вопрос.

Хаями Тодзаэмон после его рассуждений сжал кулаки и, потеряв ими колени, воскликнул:

– Скоты – вот они кто, а не люди! Настоящий воин ни одного из них к себе с наветренной стороны не подпустит.

– Верно! А что до Такады Гумбэя, то он и похуже скота! – Тюдзаэмон, подняв брови, взглянул на Хорибэ Яхэя, словно спрашивая его одобрения. Яхэй, человек вспыльчивый, тоже не смолчал:

– Так и подмывало в лицо ему плюнуть, когда мы встретили его утром! И ведь он не постеснялся перед нами появиться, да ещё и сказать: мол, поздравляю, что исполнили задуманное!

– Такада Такадой, но Оямада Сёдзаэмон-то – вот уж негодный человечешко! – добавил Масэ Кюдаю, ни к кому конкретно не обращаясь. Тут Хара Соэмон и Онодэра Дзюнай принялись с неменьшим жаром поносить предателей. Даже молчаливый Хадзама Кихэй, хоть и не присоединялся к хору голосов, то и дело кивал седой головой, показывая, что согласен с общим мнением.

– Как ни крути, а трудно представить, что подобные про-

ходимцы служили бок о бок с вами, верными вассалами. Их теперь не только самураи, но и простой люд поносит, ругая собаками и дармоедами. И пусть Окабаяси Мокуноскэ в прошлом году совершил сэппуку, а только ходили слухи – мол, его заставили родственники. Может, и врут, но если слухи поползли – считай, имя опорочено. С остальными дела и того хуже. Но раз уж в Эдо до того помешались на долге, что решились вам подражать, да к тому же известно, как вы к предателям относитесь, – может, найдутся люди, которые возьмут да зарежут негодяев, – торжествуяще заявил Дэнъэмон с таким видом, будто всё это касалось его непосредственно. Да что там – казалось, он и сам не прочь исполнить то, о чём говорил. Речь его подстегнула остальных: Ёсида, Хара, Хаями, Хорибэ в возбуждении принялись ещё сильнее клеймить проклятых отступников. И только Оиси Кураноскэ сидел, сложив руки на коленях и глядя на угли в жаровне; он всё реже вступал в разговор, а на лице у него выражалось всё большее безразличие.

Он столкнулся с новой неожиданностью: в результате его попытки сменить предмет разговора их верность теперь превозносили ещё больше – по контрасту с иными, кто оказался не столь твёрд духом. Весенний ветер, овевавший его душу, словно бы опять стал холоднее. Конечно, Кураноскэ заговорил о неверных товарищах не только для отвлечения – он и впрямь, вспоминая их, чувствовал негодование и обиду. И всё же они вызывали у него скорее жалость, чем ненависть.

Он давно наблюдал непостоянство и в мире, и в людях, и потому знал: передумать естественно – быть может, слишком естественно. В этом была определённая честность – если здесь можно использовать слово «честность» – и оттого он всегда относился к отступникам снисходительно. К тому же теперь, когда месть успешно свершилась, они и подавно достойны разве что жалостливой улыбки. Так почему мир считает, будто они заслуживают смерти или ещё чего похуже? К чему делать из них скотов – представляя отомстивших воплощением верности? Разница между теми и другими, в сущности, не так велика... Кураноскэ и ранее встревожило странное влияние, которое их месть возымела на горожан Эдо, но теперь он увидел другую его сторону – отношение к предателям, как его выразил Дэнъэмон. Неудивительно, что взгляд старого самурая был полон горечи.

Однако в эту горечь вскоре вплёлся ещё один, завершающий штрих.

Дэнъэмон, похоже, решил, будто молчит Кураноскэ из-за присущей ему скромности, и преисполнился восхищения. Чтобы выразить свои чувства, простодушный провинциальный самурай намеренно перевёл разговор на Кураноскэ и стал осыпать того похвалами, славя его непревзойдённую верность долгу.

– Слышал на днях от одного знающего человека, будто один китайский воин, когда преследовал врага своего госпо-

дина, глотал раскалённые уголья, стремясь изменить голос¹⁵. Но что эта жертва по сравнению с жертвой господина Кураноскэ, который против своего желания изображал гуляку и пьяницу?

Дэнъэмон пустился разглагольствовать об историях, ходивших про Кураноскэ в тот год, когда он якобы ударился в загул: до чего тяжело было ему, притворяясь, будто утратил разум, любоваться осенними клёнами в Такао и Атаго, да и пиры под цветущей сакурой в Гионе и Симабаре наверняка мешали разрабатывать хитрые планы...

– Я слышал, в то время в Киото была популярна песенка: «Оказался крупный камень легче бумажки...»¹⁶ Так искусно притворяться – это какая ж выдержка нужна! Недавно господин Аmano Ядзаэмон изволил хвалить вашу беспримерную стойкость, и не случайно.

– Ничего особенного я не сделал, – неохотно ответил Кураноскэ.

Дэнъэмона такая скромность не удовлетворила – но заставила проникнуться ещё большим уважением к старшему самураю, и поэтому он, повернувшись теперь к Онодэре Дзюхаю, который долгие годы охранял резиденцию Асано в Киото, продолжил горячо превозносить Кураноскэ на все лады.

¹⁵ Ю Жан – легендарный персонаж, после многочисленных злоключений отомстивший за своего господина; история относится к 5 в. до н. э. и описана Сима Цянем в «Исторических записках».

¹⁶ Песня основана на игре слов: «Оиси» означает «большой камень».

Эта ребяческая увлечённость, должно быть, показалась забавной и одновременно очень милой Дзюхая, который среди сорока семи товарищей был известен как кутила и прожигатель жизни, и тот, выслушав простодушные восторги Дэнъ-эмона, начал рассказывать ему во всех подробностях, как в помянутые времена Кураноскэ, чтобы обмануть вражеских лазутчиков, отправлялся в одеянии буддийского монаха к куртизанке по имени Югири.

– Наш Кураноскэ – вот этот самый, у которого вечно такой серьёзный вид, – даже написал тогда песню под названием «Картины весёлого квартала». И она вдруг вошла в моду – её распевали повсюду в городе. Кроме того, он завёл манеру в своей чёрной монашеской рясе под хмельком бродить по Гиону среди цветущей сакуры, так что каждый встречный его узнавал и окликал. Оттого и песня его стала модной, и разгульный образ жизни стал всем известен. И самые знаменитые куртизанки из Симабары и Сюмоку-тё – хоть Югири, хоть Укихаси¹⁷ – носились с ним и готовы были выполнять любой его каприз.

Кураноскэ выслушал рассказ Дзюхая с неприязнью – почти как злую насмешку. И в то же время – на него невольно нахлынули воспоминания о той разгульной поре. Воспоминания эти были на удивление яркими. Он видел мысленным

¹⁷ Югири и Укихаси – имена героинь средневекового японского романа «Повесть о Гэндзи» (нач. 11 в.), пользовались большой популярностью в качестве «псевдонимов» для куртизанок. Упоминаемые дальше Восточные покои также фигурируют в «Повести о Гэндзи».

взором пламя длинных свечей, ощущал аромат масла для волос¹⁸, слышал звуки сямисэна, наигрывающего «Кагабуси»¹⁹. Ему даже вспомнились слова песни «Картины весёлого квартала», про которую только что говорил Дзюхай: «Слёзы каплют на рукав, словно чистая роса / Горьким ремеслом живёт быстротечная краса...» – а вместе с ними и отпечатавшиеся в памяти соблазнительные фигуры Югири и Укихаси, будто прямиком из Восточных покоев. Видимо, он тогда и впрямь отдавался кутежу душой – раз воспоминания преследовали его и поныне. Как он смаковал мирные мгновения, когда за вихрем веселья забывал о грядущей мести! Он был слишком честен, чтобы пытаться это отрицать, и слишком хорошо понимал человеческую природу, чтобы ругать себя за безнравственность. И потому сейчас, когда его превозносили за жертвы, якобы принесённые во имя долга, ему было и неприятно, и неловко.

Стоило ли удивляться – когда Кураноскэ услышал похвалы за то, что так хитро изображал беспутство, на его лице вновь отразилась горечь. Тёплый весенний ветерок, ещё живший в груди после всех недавних открытий, стих буквально за мгновения. Осталась только расползавшаяся холодом досада на всеобщее непонимание и злость на собствен-

¹⁸ Масло для волос – средство, необходимое для укладки пышных церемониальных причёсок в традиционной Японии, включая причёски гейш и куртизанок.

¹⁹ Популярная в описываемый период песня в стиле «коута»; весь жанр подобных песен под сямисэн ассоциируется с весёлыми кварталами.

ную глупость, которая не позволила его предотвратить. Видимо, теперь потомкам предстоит узнать о нём, о его товарищах, об их мести из подобных рассказов, где правда будет щедро смешана с незаслуженными славословиями...

Принуждённый взглянуть в глаза этому прискорбному факту, Кураноскэ сидел с самым несчастным видом, держа руки над жаровней, где почти угас огонь, и избегая смотреть на Дэнъэмона.



Прошло несколько минут. Оиси Кураноскэ, выйдя из комнаты под предлогом того, что направляется в отхожее место, стоял теперь в одиночестве на веранде, прислонившись к столбу, и глядел на старую сливу, чьи яркие соцветия выделялись на фоне камней и мхов старого сада. Солнце уже потускнело, и казалось, что из тени бамбуковых зарослей вот-вот расплзутся сумерки. Из-за ставен-сёдзи по-прежнему доносилась оживлённая беседа. Кураноскэ, слушая её, почувствовал, как постепенно его охватывает глубокая печаль. Откуда берётся это одиночество – невыразимое, проникающее до самых глубин его холодного, ясного сердца вместе со слабым ароматом сливового цвета? Он долго стоял, устремив глаза наверх – к холодным неподвижным цветам, казавшимся инкрустацией на синей небесной тверди.

15 августа 1917 г.

Рассказ о том, как отвалилась голова

Начало

«Мне отрубили голову!» – с этой мыслью Хэ Сяо-эр бросил саблю и отчаянно вцепился в шею лошади. Или, быть может, сначала вцепился, а потом пришла мысль. Как бы то ни было, что-то с тупым звуком ударило его, и он припал к лошади. Та, кажется, тоже была ранена. Как только Сяо-эр повалился на переднюю луку седла, животное вдруг пронзительно заржало, обратив морду к небу, рванулось с места и, прорвавшись сквозь беспорядочную схватку, поскакало прочь по полю гаоляна, простиравшегося насколько хватало глаз. Позади раздалось два-три выстрела, но их Сяо-эр слышал, как во сне.

Высокие, выше человеческого роста стебли гаоляна со всех сторон хлестали Сяо-эра по военной форме, взлохмачивали волосы, размазывали стекающую по шее тёмную кровь. Он ничего не осознавал. В мозгу с мучительной ясностью отпечаталось одно: он убит. Убит. Убит. Повторяя это про себя, он вновь и вновь машинально вонзал каблуки во взмокшие бока лошади.

Всего десять минут назад Хэ Сяо-эр в составе группы кавалеристов направлялся на разведку к близлежащей деревушке, расположенной через реку от лагеря. Там, в поле желтеющего гаоляна, они неожиданно наткнулись на отряд японской кавалерии. Всё произошло так внезапно, что ни одна из сторон не успела сделать ни выстрела. По крайней мере, они с товарищами, увидев фуражки с красными околышами и красные лампасы на военной форме, разом выхватили сабли и развернули лошадей. Конечно, о собственной смерти в тот момент никто не думал. В голове было одно: перед ними враг – и врага надо убить. Оскалившись по-собачьи, они яростно пустили коней вперёд, в атаку. Японцами явно владело то же чувство. Мгновение спустя они – с такими же, будто в зеркале, осками – уже были вокруг Сяо-эра и его товарищей. Повсюду, разрезая воздух, засветили клинки.

Что было дальше, Сяо-эр не знал, он утратил чувство времени. До странности ясно помнилось только, как высокие стебли гаоляна гнулись, словно в бурю, а над качающимися колосьями яркой медью сияло солнце. Сколько длилась схватка, что творилось вокруг и в какой последовательности – неизвестно. Сяо-эр отчаянно размахивал саблей и, как безумный, кричал что-то невнятное. В какой-то момент клинок вроде бы окрасился алым, но рука, державшая его, ничего не ощутила. Постепенно рукоять сабли стала скользкой

и липкой от пота, во рту пересохло. Вдруг прямо перед лошадыю возник японский кавалерист: выпученные глаза вылезают из орбит, лицо багровое, рот разинут в крике. Сквозь прореху в фуражке с красным околышем виднелся короткий ёжик волос на макушке. Сяо-эр мгновенно взмахнул саблей и изо всех сил ударил сверху вниз. Но клинок коснулся не фуражки и не бритой башки под ней, а стали чужого клинка, поднятого навстречу. Звон металла с ужасающей ясностью прозвучал в шуме схватки, и в ноздри ударил холодный запах полированной стали. Одновременно широкое лезвие, блеснув на солнце, описало большой круг над головой, – и Сяо-эр не успел ничего понять, как в основание шеи с тупым звуком вошло что-то невероятно холодное.

Лошадь скакала во весь опор, неся стонущего от боли Сяо-эра по густым зарослям гаоляна, которые всё не кончались и не кончались. Конское ржание и свист клинков давно затихли вдали. Пейзажи Ляодуна в лучах осеннего солнца ничем не отличались от японских.

Итак, Сяо-эр, раскачиваясь в седле, стонал от боли. Не только от физической боли; нет, природа сдавленных, сквозь зубы, стонов была сложнее. Сильнее, чем рана, болела душа – в ней бурлили самые разные чувства. В первую очередь – страх смерти.

Помимо страха, была тоска – невероятно жалко было расставаться с жизнью. И ещё ненависть – ко всем людям и обстоятельствам, из-за которых Сяо-эру приходилось умирать. Злость на себя – за то, что не сумел выжить. И ещё, и ещё... Одно тянуло за собой другое, и конца этой пытке не было. Обуреваемый мучительными мыслями, он то кричал: «Умираю! Умираю!», то звал отца и мать, то проклинал японского кавалериста, хотя до того ослаб, что вместо слов с губ срывалось лишь хриплое бессмысленное рычание.

«Я самый несчастный человек на свете! Совсем молодым мне пришлось пойти на войну, и вот меня убили – ни за грош, будто собаку. За это я ненавижу: во-первых, японца, который меня зарубил, во-вторых – командира, который отправил нас в разведку. Ненавижу Японию и Китай. И ещё много чего ненавижу! Все, кто хоть чуть-чуть повинен в том, что я стал солдатом, – все, все они мне враги! Из-за них я сейчас покидаю мир, где мне ещё столько хотелось сделать. Ах, каким же я был дураком, что позволил так с собой обойтись!» – вот что значили стоны Хэ Сяо-эра, который, цепляясь за шею лошади, мчался дальше и дальше по полям гаоляна. Иногда, испуганные бешеной скачкой, из-под копыт торопливо разлетались стайки перепелов, на что лошадь не обращала ни малейшего внимания. Роняя с морды пену, она продолжала мчаться галопом, не чуя, что всадник порой едва удерживается в седле.

Не вмешайся судьба, Сяо-эр мчался бы и дальше, горько

жалуясь небесам на своё несчастье, пока отливающее медью солнце не скрылось бы на западе. Однако равнина постепенно превратилась в отлогий склон, спускавшийся к узкой мутной речушке среди гаоляна, и там, где речка наконец стала видна, судьба всё-таки вмещалась – приняв облик пары раскидистых ивовых деревьев, чьи нависшие над землёй ветви уже начали ронять листву. Эти густые ветви, когда лошадь устремилась сквозь ивы, подхватили Сяо-эра и сбросили головой вниз в мягкую грязь у самой кромки воды.

Он увидел на небе ярко-жёлтый огненный шар, который сознание связало с пламенем, трещащим в большой печи на кухне, когда он был ребёнком. «А, огонь!» – подумал он – и через мгновение лишился чувств.

Середина

Действительно ли Сяо-эр, упав с лошади, потерял сознание? Да, боль от раны в какой-то момент почти прошла. Но он осознавал, что лежит на пустынном речном берегу, весь в грязи и крови, и смотрит в небесную высь, которую ласкают листья ивы. Небо выглядело выше и ярче, чем когда-либо, словно он заглянул в большую бутылку синего стекла, перевернутую вверх дном. А на дне бутылки, будто пена, появлялись облачка – и таяли вновь, словно их разгоняли колыхавшиеся листья.

Значит, он был в сознании? Но между его глазами и купо-

лом неба возникали и исчезали, как тени, самые разнообразные картины. Сперва он увидел запачканную юбку матери. Он много раз цеплялся за неё ребёнком – и когда радовался, и когда печалился. Сейчас, увы, юбка исчезла, прежде чем он успел протянуть к ней руку. До того, как растаять совсем, она истончилась, превратившись в кисею, и сквозь неё пропустили облака – как бывает, когда смотришь через слюдяную пластинку.

Потом над Сяо-эром проплыло обширное поле кунжута, совсем как то, что за его родным домом – поле в разгар знойного лета, покрытое грустно поникшими в ожидании заката цветами. Сяо-эр искал глазами, не стоит ли в кунжUTE он сам вместе с братьями. Нет, в поле не было ни души – лишь переплетавшиеся тусклые цветы и листья, залитые бледными лучами солнца. Поле проплыло над ним по диагонали и тоже исчезло, будто его дёрнули вверх за верёвочку.

Вслед за этим в небе появилось что-то непонятное. Присмотревшись, Сяо-Эр разглядел большой фонарь в виде дракона, какие носят по улицам на праздник фонарей – длиной около десяти метров, на бамбуковом каркасе, обтянутом ярко разрисованной зелёным и красным бумагой. Дракон был точь-в-точь такой, как обычно рисуют на картинах. Подсвеченный изнутри, он отчётливо выделялся на фоне синего неба. Удивительно было, что бумажный дракон казался совсем живым и словно бы сам шевелил длинными усами из стороны в сторону... Пока Сяо-эр размышлял об этом, дра-

кон уплыл в сторону и исчез вовсе.

Затем в небе показалась нежная женская ступня – бинтованная, как полагается, сантиметров десять длиной. Изящно выгнутые пальчики заканчивались бледными ноготками, мягко выделявшимися на фоне плоти. С воспоминаниями о том, когда он в последний раз видел такую ножку, на Сяо-эра нахлынула печаль, смутная, будто ощущаемый сквозь сон укус блохи. Если бы он только мог дотронуться до ножки вновь... Напрасные мечты! Сотни ли отделяли его сейчас от тех мест, где он её видел. Сяо-эр ещё продолжал думать о женской ножке, но она стала прозрачной и растворилась в облаках.

Когда она пропала из вида, Хэ Сяо-эр ощутил небывалое одиночество, какого никогда не испытывал раньше. Над его головой безмолвно нависло огромное синее небо. Под ним, гонимые насылаемыми свыше ветрами, вынуждены влачить своё жалкое существование люди, хотя бы они того или нет. До чего же одинок человек! И как же удивительно, подумал Сяо-эр, что он не осознавал этого прежде. У него вырвался глубокий вздох.

Тут между ним и куполом неба явился отряд японской кавалерии в фуражках с красными околышами, который мчался вперёд во весь опор, – быстрее, чем любое из предыдущих видений. Всадники появились и стремительно унеслись прочь. А ведь каждый из этих кавалеристов был, пожалуй, так же одинок, как он сам. Не будь они видением, с ними

можно было бы поговорить, ободрить друг друга и хоть ненадолго забыть об одиночестве.

То и дело подступали слёзы. Глядя сквозь их пелену на свою жизнь, Сяо-эр видел, какой невыразимо уродливой она была до сих пор. Ему хотелось попросить у всех прощения – и одновременно всех простить.

– Если бы мне удалось спастись, я бы сделал всё, чтобы искупить прошлое! – в слезах шептал он про себя.

Однако бесконечно синее, бесконечно глубокое небо будто не слышало, сантиметр за сантиметром, ладонь за ладонью опускаясь ему на грудь. Слабо мерцающие точки в бескрайней синей глади – наверное, звёзды, различимые даже днём?.. Видения больше не скользили у него перед глазами. Хэ Сяо-эр с трудом вздохнул ещё раз, губы его задрожали, и наконец он медленно закрыл глаза.

Конец

Стояло весеннее утро. Прошёл год после заключения мира между Японией и Китаем. В одном из кабинетов японского посольства в Пекине военный атташе майор Кимура и инженер по имени Ямакава, присланный из Японии с инспекцией от министерства сельского хозяйства и торговли, неспешно беседовали за чашкой кофе и курили сигары, на время отвлекшись от напряжённой работы. Хотя уже началась весна, в большом камине горели дрова, поэтому в ком-

нате было тепло, даже жарко, так что выступала испарина. В аромате сливы-мэйхуа, росшей в горшке на столе, сквозило что-то очень китайское.

Некоторое время разговор шёл о вдовствующей императрице Цы Си, затем коснулся воспоминаний о японо-китайской войне, и майор Кимура, вдруг поднявшись с места, достал из шкафа в углу номер «Шэньчжоу жибао». Развернув его перед Ямакавой, он указал пальцем на заметку, взглядом предложив с ней ознакомиться. Это было так неожиданно, что инженер вздрогнул. Впрочем, он знал своего собеседника как человека весьма интересного, совсем не похожего на типичного солдафона. Предвкушая какую-нибудь необычную историю о войне, он опустил взгляд на газетный лист, где по-китайски, одними лишь угловатыми иероглифами, что придавало заметке внушительность, было напечатано следующее.

«Хэ Сяо-эр, владелец парикмахерской, в прошлом участник войны с Японией, получивший многочисленные награды за проявленную на поле боя храбрость, после триумфального возвращения домой не отличался примерным поведением, чрезмерно пристрастившись к алкоголю и женщинам. ... N-го числа он поссорился в баре с приятелем, что привело к потасовке, в результате которой Хэ Сяо-эр скончался на месте из-за тяжёлой травмы шеи. По удивительному стечению обстоятельств, она не была получена в драке – открылось старое боевое ранение. Как утверждают очевидцы, во

время конфликта пострадавший упал на стол и вместе с ним рухнул на пол, в результате чего голова внезапно отделилась от тела, оставшись висеть на единственном лоскуте кожи, а из раны хлынула кровь. Власти сомневаются в этой версии, и в настоящее время в отношении второго участника драки проводится расследование. Однако мы знаем, что в «Рассказах о необычайном»²⁰ говорится, как у некоего человека из Чжучэна отвалилась голова. Можем ли мы быть уверены, что подобного не случилось с Хэ Сяо-эром?»

Дочитав, Ямакава с изумлением обернулся к майору Кимуре.

– Что за чертовщина?

Тот медленно выдохнул сигарный дым и расплылся в широкой улыбке.

– Любопытно, не правда ли? Такое может произойти только в Китае.

– Да, нигде больше это представить невозможно. – Ямакава, усмехнувшись, стряхнул в пепельницу столбик пепла с кончика сигары.

– И что ещё интереснее... – Майор, посерьёзнев, сделал паузу. – Я знал этого Хэ Сяо-эра.

– Знали? Вы меня удивляете. Неужели атташе посольства собирается повторять небылицы за газетчиками?

– К чему мне это? Во время войны я был ранен в бою у

²⁰ Сборник новелл Пу Сунлина (1640–1715), на русском также выходил под другими названиями.

деревни Х., а Хэ Сяо-эра взяли в плен и тоже привезли в наш полевой госпиталь. Я порой с ним разговаривал, чтобы попрактиковаться в китайском. Он был ранен в шею, так что девять к одному – это тот же самый человек. Они выехали на разведку, столкнулись с нашими кавалеристами, и его полоснули по горлу.

– Да, интересное совпадение! Но в газете написано, что он вёл разгульную жизнь. Быть может, ему было лучше погибнуть в бою.

– Когда я его знал, он был честным и добрым человеком, мало кто среди пленных отличался такой покладистостью. Все его любили, персонал госпиталя особенно о нём заботился. Он рассказывал о себе много интересного. Я, например, до сих пор помню, как он описывал, что пережил, когда, раненый в шею, упал с лошади и лежал на земле. Он очутился в грязи на берегу какой-то речки и там, глядя в небо над ивами, ясно видел то юбку матери, то женскую ножку, то цветущее поле кунжута. – Майор Кимура выбросил окурок сигары, поднёс к губам чашку кофе и, кинув взгляд на деревце сливы на столе, сказал, будто сам себе: – Говорил, что, увидев всё это, понял, какой недостойной прежде была его жизнь.

– А не успела война закончиться, как он снова пустился во все тяжкие! То-то и оно – людям верить нельзя. – Ямакава откинул голову на спинку кресла, вытянул ноги и с насмешливым видом выпустил в потолок сигарный дым.

– Вы хотите сказать, что он только притворялся паинькой?

– Именно.

– Не думаю. Полагаю, во времена нашего знакомства он был совершенно искренен. Наверное, и теперь, когда у него – как сказано в газете – отвалилась голова, он почувствовал то же самое. По- моему, пьяный, в пылу ссоры он грохнулся на стол. Старая рана открылась, и голова с длинной косичкой покатилась по полу. И тут наверняка у него перед глазами вновь промелькнули и материнская юбка, и женская ножка, и кунжутное поле в цвету. Может, и синее небо пригрезилось, хотя на самом деле наверху был потолок. И, конечно, он опять почувствовал, что жизнь его никуда не годится. Только на сей раз ему не успели помочь. Тогда, на войне, его выходили потому, что наши санитары обнаружили его лежащим без сознания. А тут рядом был только другой буян, который, воспользовавшись моментом, продолжил его бить и пинать. Так что бедняга, пожалев о своей жизни, с этим сожалением и умер.

Ямакава, улыбнувшись, пожал плечами.

– Какой вы, однако, фантазёр! Но почему же он, спасшись в первый раз, всё-таки ударился в загул?

– Именно потому, что людям верить нельзя – только не в том смысле, в котором говорили вы. – Майор Кимура закурил новую сигару и, просветлев лицом, торжествующе улыбнулся. – В первую очередь, верить нельзя себе. Только на того, кто это твёрдо усвоил, можно отчасти полагаться. Иначе

рано или поздно случается то же, что с Хэ Сяо-эром, – итогом благих намерений становится отвалившаяся голова. Вот чему нас учат китайские газеты.

Декабрь 1917 г.

Кэса и Морито

Ночь. Морито у глинобитной ограды глядит на луну и расхаживает по опавшим листьям, погружённый в размышления.

Его монолог

Вот и луна вышла. Обычно я жду её с нетерпением, но сейчас свет внушает мне страх. Я содрогаюсь при мысли, что этой ночью потеряю себя – что к завтрашнему дню уже стану убийцей. Стоит лишь представить, как эти руки обагрят кровь... Какое же проклятие ляжет на меня тогда – даже в моих собственных глазах! Собирайся я убить того, кто мне ненавистен, я, быть может, не мучился бы так, но сегодня я должен лишить жизни человека, к которому ненависти не чувствую.

Я знал его долгое время. Имя – Ватару Саэмон-но дзё – стало мне известно недавно, зато лицо – белое, со слишком мягкими для мужчины чертами – я помню с давних пор. Обнаружив, что он – муж Кэсы, я сперва ревновал, но теперь от ревности не осталось и следа. И пусть Ватару – мой соперник в любви, я не нахожу в себе ни злости, ни обиды. Отнюдь, я мог бы даже сказать, что мне его жаль. Когда я слышал от

госпожи Коромогавы, как много усилий Ватару приложил, стремясь заполучить Кэсу, я и правда подумал о нём с признью. Разве не учился он, добиваясь её руки, стихосложению? Когда я представляю любовные куплеты, написанные этим невозмутимым самураем, на губах у меня невольно появляется улыбка. В ней нет насмешки. Мужчина, который готов на такое ради женщины, трогает моё сердце. Быть может, его поклонение той, кого я люблю, в какой-то степени льстит и мне, её любовнику.

Впрочем, если уж на то пошло, правда ли я люблю Кэсу? Чувство к ней будто поделено надвое: прошлое и настоящее. Я любил её ещё до того, как она стала женой Ватару. Или думал, что люблю. Сейчас я понимаю: мои помыслы в то время не были полностью чисты. Ни разу не познав женщины, я желал тела Кэсы. Если мне будет позволено некоторое преувеличение – сама любовь к ней была лишь приукрашенным, окутанным романтическим флёром плотским влечением. В доказательство отмечу: через три года разлуки я всё ещё не мог забыть Кэсу; но если бы я вкусил близости с ней – разве я помнил бы её так долго? Как ни стыдно, я не решаюсь ответить «да». Моя последующая привязанность была во многом замешана на сожалении – о том, что Кэса ни разу не стала моей. Храня в душе это мучительное чувство, я наконец вступил с ней в связь – чего так боялся и так ждал. А что же сейчас? Я спрашиваю себя вновь: действительно ли я люблю Кэсу?

Прежде чем я смогу ответить, придётся вспомнить всю историю, как бы мне это ни претило... Во время церемонии освящения моста Ватанабэ я вдруг столкнулся с Кэсой, которую не видел три года; и затем целых шесть месяцев всеми способами старался подобраться к ней поближе. Мне это удалось. И не просто удалось – наконец исполнилась моя мечта, я познал её тело. Однако чувство, которое владело мной тогда... это было не только сожаление, что я не был с ней близок. Когда я присел рядом с Кэсой на татами²¹ в доме госпожи Коромогавы, я понял: желание утратило остроту. К тому времени я уже бывал и с другими женщинами, и это, пожалуй, отчасти утолило мою жажду. Но главное – красота Кэсы поблёкла. Передо мной была уже не та, кого я любил три года назад. Кожа утратила блеск, под глазами залегли тёмные круги, щёки и подбородок утратили свой соблазнительный изгиб, словно его никогда и не было. Кажется, неизменными остались лишь глаза – большие, влажные, выразительные. Перемена во внешности Кэсы была ужасным ударом для моих чувств. До сих пор помню, как, увидев её тогда, после долгой разлуки, я, поражённый, невольно отвёл взгляд.

Почему я, уже не жалея о потере Кэсы, решился вступить с ней в связь? Прежде всего, мной двигал странный азарт. Она сидела лицом к лицу со мной и нарочно говорила про своего мужа, расписывая, как любит его. А мне упорно ка-

²¹ Татами – традиционное покрытие для пола, тростниковые маты.

залось: всё это – пустые слова. «Муж для неё – предмет хвастовства, – подумал я. – Или, быть может, она говорит назло мне, не желая моего сочувствия». Одновременно во мне всё сильнее разгоралось стремление разоблачить её ложь. Впрочем, если бы меня спросили, с чего я взял, будто это ложь, если бы сказали, что я сам убедил себя в лживости Кэсы, – мне было бы нечего возразить. Тем не менее, я твёрдо верил: она лгала. Да и теперь верю.

В то же время охотничий азарт не был моим единственным чувством. Помимо него... стоит лишь заговорить об этом – и я краснею. Помимо азарта мной двигала чистая похоть. Не сожаление, что я до сих пор не познал эту женщину. Нет, чувство более низменное, похоть ради похоти, для которой не имело значения, кто передо мной. Даже мужчина, покупающий услуги продажной девки в публичном доме, не опускается до такой грязи, как я в тот момент.

Как бы то ни было, движимый всеми этими побуждениями, я возлég с Кэсой. Или, правильнее сказать, обесчестил её. Теперь, если обратиться к вопросу, заданному в самом начале, – люблю ли я Кэсу?... Впрочем, нет смысла спрашивать об этом вновь. Напротив, порой я её ненавижу. Особенно после того, как всё было кончено, и я заставил себя обнять её, заливающуюся слезами, Кэса показалась мне ещё большей бесстыдницей, чем я сам. Спутанные волосы, белила на покрытом испариной лице... И душа, и тело – всё в ней было безобразно. Если я любил её раньше, в тот миг любовь

исчезла навсегда. Если не любил – в моём сердце поселилась неведомая раньше ненависть. А потом... о! Ведь сегодня ночью ради женщины, которую не люблю, я должен убить мужчину, к которому не питаю злобы!

Мне некого винить. Я сам всё сказал – сказал без обиняков, собственными устами: «Давай убьём Ватару». Стоит вспомнить, как я прошептал это, склонившись к её уху, и я начинаю сомневаться: не безумие ли мной овладело? И всё же я прошептал. Сквозь зубы, вопреки себе самому. Сейчас, думая об этом, я и сам не понимаю, что меня подтолкнуло. Если поразмыслить хорошенько... Чем сильнее я презирал эту женщину, чем больше ненавидел её, тем сильнее мне хотелось её унижить. А не лучший ли способ для этого – предложить убить мужа, чью любовь она так превозносила, и заставить её волей-неволей согласиться? Потому-то, наверное, я, будто в кошмарном сне, и подбивал её на преступление, которого вовсе не хотел совершать. Если же счесть, что и этих мотивов недостаточно, остаётся заключить: я поддался неведомой силе (назовём её дьяволом), которая направила меня на путь преступления. Так или иначе, я вновь и вновь настойчиво шептал свои слова на ухо Кэсе.

Прошло какое-то время, прежде чем она вдруг подняла голову и покорно согласилась с моим планом. Меня удивило, с какой лёгкостью она это сделала. Взглянув ей в лицо, я увидел, что её глаза горят странным огнём, какого я раньше не видел. «Прелюбодейка», – ясно читалось в них. Одновре-

менно я ощутил нечто вроде разочарования; внезапно перед моими глазами встал весь ужас задуманного. Не стоит и говорить, что меня всё время мучило отвращение к виду этой распущенной, поблёкшей женщины. Если бы я только мог, я бы прямо там, сразу же разорвал уговор с ней – и заставил бы неверную испить чашу унижения до дна. Быть может, так я успокоил бы свою совесть, за праведным гневом забыв о собственном грехе. Но я был не в силах. Когда она пристально взглянула мне в глаза и мгновенно переменилась в лице, будто смогла прочесть, что у меня на сердце... Признаюсь честно: я испугался – и потому угодил в ловушку, пообещав убить Ватару и назначив для этого день и час. Я испугался мести Кэсы. Даже теперь страх сжимает в тисках мою душу. Можете сколько угодно смеяться над моей трусостью – вы ведь не видели Кэсу в тот момент. «Если я откажусь, она прикончит меня – пусть и чужими руками. Раз так, лучше уж я сам убью Ватару», – в отчаянии подумал я, глядя в глаза Кэсы, плакавшей без слёз. Когда же я поклялся, она, опустив глаза, улыбнулась, и на бледной щеке появилась ямочка. Разве это не доказывало, что боялся я не зря?

О, из-за этого проклятого обещания я, уже запятнанный грехом, собираюсь обременить нечистую совесть ещё и убийством. Если сегодня ночью я нарушу слово... Нет, я не могу. Во-первых, я дал клятву. Кроме того, я уже говорил, я боюсь мести. Но есть и нечто другое, большее. Что же? Какая великая сила толкает меня, труса, на убийство ни в чём не

повинного человека? Я не знаю. Не знаю, но, быть может... Впрочем, нет. Я презираю эту женщину. Боюсь её. Ненавижу. И всё же – всё же – быть может, дело в том, что я люблю её?

Морито умолкает, но продолжает расхаживать из стороны в сторону. Светит луна. Откуда-то доносится песня.

В человеческом сердце непроглядный мрак,
В нём огонь желаний ярко запылал.
Вспыхнет – и сгорит, гаснет без следа.
Вот и жизнь земная, краткая, прошла.

Часть 2

Ночь. Кэса в своей спальне отворачивается от светильника и кусает рукав, погружённая в размышления.

Её монолог

Придёт? Не придёт? Мне не верится, что он может не прийти, но вот уже луна заходит, а я по-прежнему не слышу звука шагов. Неужели передумал? Если он не придёт... о, мне, словно распутной девке, придётся поднять горящее от стыда лицо и взглянуть в глаза новому дню. Разве мне до-

станет для этого дерзости и злонаравия? Я буду словно труп, брошенный на обочине, – униженный, попираемый ногами, выставленный на всеобщее обозрение в своём сраме, но обречённый на немоту. Случись со мной такое, даже смерть не принесёт избавления. Нет-нет, он обязательно придёт. С тех пор, как я заглянула ему в глаза при нашей последней встрече, я не могу думать ни о чём другом. Он боится меня. Ненавидит, презирает – и при этом боится. Ради меня он, может, и не пришёл бы. Он придёт ради себя. Придёт, движимый себялюбием. Точнее, отвратительной трусостью, которая порождена его себялюбием. Потому я и говорю сейчас: я уверена, он будет здесь.

О я, несчастная – какое уж тут «ради меня»! Три года назад я знала, что могу рассчитывать на себя – на свою красоту. И даже после, ещё совсем недавно, вплоть до самой нашей встречи. В тот день, когда я столкнулась с ним в доме у тёти, мне хватило одного взгляда, чтобы прочитать в его душе: он считает меня безобразной. Он смотрел на меня, как ни в чём ни бывало, говорил ласковые слова, желая меня соблазнить. Но разве может утешиться словами сердце женщины, которая уже поняла: она уродлива? Это было унижительно. Страшно. Больно. Как-то ещё ребёнком я, сидя на руках у кормилицы, увидела лунное затмение и перепугалась; так вот тот ужас не идёт ни в какое сравнение с нынешним. Все мои мечты разом испарились. Мне осталось лишь одиночество, непроглядное, как дождливый рассвет, – и я, содрога-

ясь от него, отдала своё тело, уже почти мёртвое, этому человеку. Человеку, который не любит меня, который ненавидит и презирает меня, который одержим похотью... Выходит, я, увидев собственное безобразие, не смогла вынести одиночества? Пыталась обмануть себя минутной вспышкой страсти, прижимаясь лицом к чужой груди? Или, быть может, и мной, как этим человеком, двигала похоть? От одной мысли мне становится стыдно. Стыдно. Стыдно, какой же ничтожной я чувствовала себя, когда моё тело наконец высвободилось из его объятий!

Как я ни сдерживалась, пытаюсь не заплакать, от гнева и тоски слёзы текли безостановочно. Меня печалил не только нарушенный обет верности. Мучительнее всего было сознание: меня ненавидят и презирают, будто покрытую паршой собаку. И что же я сделала? Сейчас, когда я думаю об этом, воспоминания кажутся далёкими и смутными, будто всё случилось давным-давно. Пока я всхлипывала и заливалась слезами, я почувствовала, как усы этого человека касаются моего уха, как его горячее дыхание обжигает кожу, и услышала шёпот: «Давай убьём Ватару». Едва прозвучали эти слова, я вдруг почувствовала, что оживаю, — сама до сих пор не могу понять почему. Оживаю? Да, это была вспышка жизни, столь же яркая, сколь свет луны, если его можно называть ярким, — и столь же далёкая от настоящей жизни, как свет луны далёк от солнечного. Тем не менее, разве его страшные слова меня не утешили? Разве я не женщина, которая счастлива от люб-

ви мужчины, — так счастлива, что готова убить собственно-го мужа? Какое-то время я продолжала плакать — одинокая, живущая лишь отражённым лунным светом. А потом? Потом? В какой момент я согласилась на убийство? Лишь тогда я впервые вспомнила про мужа. Говорю без лукавства — впервые. До тех пор я думала лишь о себе и своём унижении. Но тут мне вспомнился муж, такой застенчивый... Нет, даже не он сам. У меня перед глазами встала его улыбка. Наверное, когда я её вспомнила, в моей голове и сложился мгновенно план: я решила умереть — и это решение принесло мне радость. Слёзы остановились, я подняла голову и посмотрела тому человеку в лицо. Однако стоило мне прочесть в его душе, как я безобразна, и радость мгновенно улетучилась. И тогда... я опять вспоминаю тьму лунного затмения, которое видела, сидя на руках у кормилицы. Все чудовища, которые таились под покровом моей радости, махом вырвались на свободу. Оттого ли я собираюсь сейчас подменить собой мужа, что люблю его? Нет, это лишь удобное объяснение — на самом деле я пытаюсь искупить измену. Убить себя самой мне не хватает мужества. Но мной движет низменное стремление выглядеть хоть немного лучше в чужих глазах. Впрочем, на меня никто не обратит внимания. И в действительности я ещё отвратительнее, ещё безобразнее. Подменив собой мужа, разве не хочу я отомстить тому, другому мужчине — за его ненависть, за его презрение, за то, что была для него лишь игрушкой? Доказательство тому — когда я смотрю в его

лицо, странное, похожее на лунный свет оживление гаснет, и мою душу сковывает тоска. Я умру не ради мужа. Я умру ради себя. Умру, ибо сердце моё ранено, а тело – осквернено. Я не только жить не могу достойно. Я не могу и достойно умереть.

Но даже такая, без достойной причины, смерть куда желаннее, чем жизнь. Улыбаясь через силу, несмотря на печаль, я вновь и вновь соглашалась на убийство мужа. Тот, другой, догадлив – по моим словам он понял, как я с ним поступлю, если он нарушит обещание. А значит, он не может не прийти – он ведь дал клятву... Что это, ветер?.. Стоит подумать: я больше не буду страдать, как страдала с того самого дня, – и мне становится легче. Завтрашнее утро прольёт холодный тусклый свет на моё бездыханное тело. И муж, который увидит меня... нет, о нём я не буду думать, он меня любит. Но эта любовь ничего не может изменить. Моё сердце с давних пор отдано одному человеку. И сегодня он придёт убить меня. Мне хочется скрыться даже от света фонаря – такую боль причинил мне мой возлюбленный.

Кэса тушит фонарь. Вскоре в темноте раздаётся слабый звук: отодвигается створка окна. В комнату проникает бледный свет луны.

Март 1918 г.

Муки ада

1

Такого человека, как господин Хорикава, никогда не бывало на свете и, пожалуй, не будет. Ходят слухи, что до того, как он явился в наш мир, на подушке у его матери само собой появилось изображение бога Ямантака. Так или иначе, с самого рождения он отличался ото всех, и поэтому деяния его не могли не изумлять окружающих. Стоило только посмотреть на дворец Хорикавы – тамошние величие и размах превосходят всё, о чём может помыслить человек обыкновенный. Потому иные осмеливались осуждать господина, сравнивая его нелестным образом с китайскими императорами Цинь Ши-хуанди и Суй Ян-ди²²; но все эти кривотолки напоминают притчу о слепых, которые ощупывают слона. Не в том был замысел господина Хорикавы, чтобы самому наслаждаться богатством и роскошью; напротив, он всегда пёкся о нижестоящих и великодушно стремился к тому, чтобы все вокруг пользовались плодами его забот.

Оттого господину не повредила и встреча со злыми ду-

²² Китайские императоры, прославившиеся масштабными строительными проектами, стоившими огромных затрат и большого числа человеческих жизней.

хами на перекрёстке Нидзё-Оомия. И даже призрак, который, как говорят, каждую ночь появлялся во дворце Кавара на Третьей улице – сад в нём знаменит тем, что повторяет пейзажи соляных копей Сиогама в северной провинции Митиноку, – даже этот призрак Левого министра Тору²³ бесследно исчез, когда господин Хорикава обратился к нему с упрёками. Таким уважением пользовался наш владелец, что многие в столице – и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, – смотрели на него как на воплощение божества. Однажды, когда он возвращался с пиршества по случаю цветения сливы, из его экипажа выпрыгся вол и подмял переходившего дорогу старика. Тот же, молитвенно сложив руки, лишь вознёс благодарность за то, что пострадал от животного, которое принадлежало высочайшему.

Так обстояло дело, и потому истории о жизни нашего господина будут помнить ещё долго: как на великом пиру он пожаловал гостям тридцать белых лошадей; как отдал мальчишка – своего любимца – для жертвоприношения при закладке моста через реку Нагара; как велел китайскому монаху, который владел секретами врачевания, передававшимися от самого Хуа То²⁴, вырезать ему язву на бедре... Рассказам этим нет числа. Но не найти среди них более страшного, чем

²³ Минамото-но Тору (822–895) – историческое лицо, поэт и аристократ, занимавший пост Левого министра (одна из высочайших государственных должностей в древней Японии). Считается прототипом принца Гэндзи из «Повести о Гэндзи».

²⁴ Знаменитый китайский врач, живший во 2 в. н. э.

история ширмы с изображением адских мук, хранимой как реликвия в семье Хорикава. Даже сам господин, которого обычно ничто не могло смутить, в тот раз был поражён до глубины души. Что же до нас, его слуг, – у нас и вовсе чуть душа с телом не рассталась от ужаса; никакими словами не выразишь, что мы испытали. Сам я провёл на службе двадцать лет, но ни разу за это время не видел ничего настолько пугающего.

Однако прежде чем поведать эту историю, следует рассказать о художнике по имени Ёсихидэ, который и нарисовал муки ада на ширме.

2

Наверное, и сегодня ещё остались люди, которые помнят Ёсихидэ. В то время считалось, что ему нет равных в мастерстве художника, – так он был знаменит. Когда произошла эта история, ему было около пятидесяти. Мне он помнится маленьким, тощим – кожа да кости! – злобным стариком. Являясь ко двору господина, он обычно надевал красно-коричневую накидку-карагину и высокую чёрную шапку-эбоси. Благородства в его чертах было мало, но особенно выделялись не по возрасту красные губы – в них чудилось что-то отвратительное, звериное. Говорили, что он облизывает кисти, когда рисует. Правда ли – бог весть. Что до недоброжелателей, те утверждали, будто Ёсихидэ видом и повадками похож на

обезьяну, так это прозвище к нему и приклеилось.

Про Ёсихидэ-Обезьяну передавали и такой рассказ. При дворе нашего господина прислуживала единственная дочь художника – в отличие от отца, прелестное создание пятнадцати лет от роду. Быть может, оттого, что она рано осталась без матери, девица эта была не по годам разумной и добросердечной, и потому все, начиная с супруги господина, её любили.

Как раз в ту пору нашему господину подарили ручную обезьянку, которую привезли из провинции Тамба, и молодой наследник, любивший поозорничать, назвал её Ёсихидэ. Обезьянка и сама по себе была презабавной, а уж с таким именем неизменно веселила любого, кто был при дворе. Мало того, что все смеялись, – так стоило зверушке взобраться на сосну в саду или испачкать татами в парадных залах, как её принимались дразнить, крича: «Ёсихидэ, Ёсихидэ!»

Однажды дочь художника шла по длинной галерее, неся в руках ветку зимней сливы, к которой было привязано письмо, как вдруг навстречу ей из дальних дверей бросилась обезьянка Ёсихидэ – она припадала на одну лапку и потому не могла с обычным своим проворством взобраться по деревянной колонне. И кто же появился следом? Не кто иной, как господин наследник, который гнался за беглянкой, размахивая хлыстом и крича: «Стой, стой, отдай мандарин!» Дочь Ёсихидэ на мгновение заколебалась, однако подбежавшая обезьянка, вцепившись в подол её шаровар-хакама, от-

чаянно закричала, и девушка не смогла не поддаться жалости. По-прежнему сжимая в руке ветку сливы, она взмахнула лиловым рукавом и легко подхватила животное.

– Простите великодушно, но это всего лишь зверушка. Прошу вас, не будьте к ней суровы, – пропела она серебристым голосом, склонившись в поклоне.

Молодой господин был рассержен не на шутку и, нахмурившись, затопал ногами:

– Почему ты её защищаешь? Она украла мандарин!

– Это всего лишь зверушка... – повторила девушка и, грустно улыбнувшись, добавила: – Кроме того, её зовут Ёсихидэ, и мне всё кажется, будто это моего отца хотят наказать...

Тут, конечно, молодой господин волей-неволей от неё отступился:

– Что ж. Если ты просишь за отца, я, так и быть, её прощу, хоть она этого и не заслуживает. – Он отбросил хлыст и удалился в ту же дверь, откуда вышел.

3

После того случая дочь Ёсихидэ и маленькая обезьянка подружились. Девушка повесила ей на шею золотой бубенчик, полученный в подарок от дочери нашего господина, на красивом малиновом шнурке. Обезьянка теперь не отходила от неё ни на шаг, и, когда девушка простудилась и лежала в

постели, сидела у её изголовья с печальным видом и грызла ногти, будто беспокоилась о подруге.

Как ни странно, зверушку больше никто не дразнил, напротив, её все полюбили, даже молодой господин в конце концов стал угощать хурмой и каштанами и страшно рассердился, когда какой-то приближённый её пнул. Об этом прослышал сам сиятельный Хорикава и повелел дочери Ёсихидэ явиться пред свои очи вместе с обезьянкой. Видимо, тогда он и узнал, отчего девушка так заботится о зверьке.

– Ты почитаешь родителей. Хвалю тебя за это, – сказал он и пожаловал девице алое кимоно.

Тут и обезьянка, подражая человеку, принялась рассматривать подарок, что нашего господина весьма позабавило. Как видите, благоволение, которое он оказывал дочери Ёсихидэ, проистекало из того, что ему понравилась её дочерняя почтительность и то, как она защищала обезьянку, а не из того, что он, как болтали некоторые, положил на девицу глаз. Слухи такие возникли, может, и не без повода, но о том расскажем в свой час. Так или иначе, господин наш уж точно был не таким человеком, чтобы заглядываться на дочь простого художника, будь она хоть самой что ни на есть красавицей.

Итак, получив знаки высочайшего благоволения, дочь Ёсихидэ удалилась; и до того была она мудра, что не навлекла на себя зависти других низкородных прислужниц. Напротив, её, как и обезьянку, привечали теперь ещё больше. Мо-

лодая госпожа с девицей не расставалась и всегда брала с собой в карету, когда ехала на прогулку.

Рассказав о дочери, поведая и об отце. Обезьянка со временем стала пользоваться всеобщим расположением, однако самого великого Ёсихидэ по-прежнему не любили и называли промеж себя Обезьяною. Надо сказать, смотрели на него косо не только во дворце. Настоятель храма в Ёгаве ненавидел его так крепко, что, стоило упомянуть о художнике, даже менялся в лице, словно увидел демона. Говорили, правда, будто настоятель сердится оттого, что Ёсихидэ нарисовал на него карикатуру, – но это лишь болтовня слуг, и, сколько в ней правды, неизвестно. Одним словом, старика недолюбливали все. Хорошее о нём могли сказать разве что два-три других художника, либо те, кто видел его картины, но не знал, что он за человек.

Ведь мало того, что Ёсихидэ был непригляден на вид, – куда хуже были его поступки; а потому ему некого было винить во всеобщей нелюбви, кроме самого себя.

4

Каковы же были его поступки? Ёсихидэ отличался скупостью, грубостью, бесстыдством, ленью и алчностью. Но хуже всего были его высокомерие и самодовольство; он утверждал, будто ни один художник во всей стране не в силах с ним сравниться, и ходил, задрав нос до небес. Если бы

речь шла только о ремесле живописца, его ещё можно было бы простить, однако он презирал всё на свете, даже древние традиции и обычаи. Ученик, прошедший с Ёсихидэ много лет, рассказывал, что однажды в усадьбе у одного вельможи в прославленную жрицу Хигаки вселился дух покойного, и она принялась изрекать леденящие душу пророчества; художник, не слушая её речей, схватил кисть с тушечницей и стал рисовать искажённое лицо жрицы. Видимо, проклятие он считал детской шуткой.

Такой он был человек, что богиню красоты Киссётэн рисовал с гулящей девки, а бога Фудо-Мёо – со злодея, отбывшего срок в тюрьме; и много делал такого, чего лучше бы не делать. Когда же его пытались усовестить, лишь говорил с беззаботным видом: «Странно мне слышать, будто боги и будды, которых я же и рисовал, захотят покарать меня за рисунки». Неудивительно, что даже среди его собственных учеников немало оказалось тех, кто убоялся грядущих несчастий и решил его покинуть. Как назвать такое поведение? Только непомерным высокомерием. Видно, старик и впрямь считал себя превыше всех на свете.

До чего Ёсихидэ преуспел в искусстве рисования, даже описать трудно. Впрочем, картины его сильно отличались от картин других художников, как манерой письма, так и колоритом, и немало собратьев по кисти были недовольны и называли его шарлатаном. Они говорили, что, мол, ежели взять произведения великих мастеров прошлого – Каванари или

Канаока, – то про них рассказывают красивые легенды: будто в лунные ночи можно ощутить аромат цветущей сливы, нарисованной на раздвижных дверях, или услышать, как с бумажной ширмы играет на флейте придворный; в картинах же Ёсихидэ непременно есть что-то извращённое и отвратительное. Скажем, на воротах храма Рюгайдзи он изобразил Пять путей перерождения, и говорили, что, когда поздно ночью там случалось проходить путникам, они слышали вздохи и рыдания существ из другого мира. Также утверждали, что когда Ёсихидэ по желанию господина рисовал портреты придворных дам, те, кто был на них изображён, в течение трёх лет заболевали, лишаясь мало-помалу жизненной силы, и в конце концов умирали. Противники художника видели в подобных историях главное доказательство того, что он в своём ремесле встал на дурную дорогу.

Впрочем, сам Ёсихидэ, человек своенравный, подобной репутацией лишь гордился. Однажды, когда наш господин в шутку заметил: «Похоже, тебе нравится уродство», – тот, растянув алые губы в недоброй улыбке, самодовольно ответил: «Так и есть. Лишь те из художников, кто мыслит мелко, не в состоянии увидеть в уродстве красоту». Будь он хоть сто раз самым лучшим живописцем в стране – а всё-таки удивительно, как он решился так дерзко разговаривать с господином. Не зря его собственный ученик, тот самый, что рассказывал про жрицу Хигаки, за высокомерие прозвал его Тира-Эйдзю – а это, как вам известно, имя длинноносого де-

мона-тэнгу²⁵, пришедшего в нашу страну из Китая.

Но даже у Ёсихидэ, который всё делал не так, как принято у людей, – даже у него, как у любого другого человека, имелась одна привязанность.

5

Что же это была за привязанность? Ёсихидэ до безумия обожал свою дочь – ту самую, что служила при дворе нашего господина. Как говорилось ранее, дочь была девицей благонаправной и всей душой преданной отцу, однако и он любил её не меньше. И вот что удивительно: тот самый Ёсихидэ, который никогда в жизни медной монеты не пожертвовал ни одному храму, для дочери не жалел ничего и с готовностью тратил деньги ей на одежду и драгоценные заколки.

Тем не менее, балуя дочь, он не заботился о том, чтобы найти ей хорошего мужа. Какое там! Стоило кому-нибудь начать с ней заигрывать, как он готов был нанять головорезов, чтобы избавиться от наглеца. Потому-то, когда по слову господина девушку взяли в услужение во дворец, старик был весьма недоволен и даже в высочайшем присутствии долгое время ходил мрачнее тучи. Именно из-за его кислого вида и пошли слухи, будто господин, покорённый красотой девицы,

²⁵ Возможно, прозвище связано с тем, что демоны-тэнгу в сказаниях нередко насмеваются над буддизмом и, в частности, соблазняют верующих фальшивыми изображениями Будды.

познал её без родительского дозволения.

Слухи, разумеется, были ложными, но Ёсихидэ, всем сердцем любя дочь, и правда мечтал, чтобы она вернулась домой. Однажды он по приказу господина изобразил Манджушри-ребёнка, написав его с мальчика, который был высочайшим любимцем, и так чудесно у него это получилось, что господин, до крайности довольный, сказал: «Проси в награду, чего пожелаешь, ни в чём не стесняйся». И как вы думаете, что ответил, почтительно поклонившись, Ёсихидэ? Он осмелился сказать: «Прошу вас отпустить мою дочь». Слыханное ли дело – проявлять такую дерзость, пытаясь самого владыку лишить прислужницы: «она, мол, мила мне самому»? Господин, хоть и пребывал в благодушном настроении, помрачнел и некоторое время молча глядел Ёсихидэ в лицо, пока наконец не бросил: «Не будет этого», – и, вдруг поднявшись с места, удалился. Подобное повторялось ещё четыре или пять раз. Теперь, когда я вспоминаю прошлое, мне думается, что с тех-то пор и начал господин смотреть на Ёсихидэ всё холоднее и холоднее. К тому же и дочь Ёсихидэ тосковала по отцу и частенько, удалившись в женские покои, плакала, утирая слёзы рукавом. Тут уж все стали болтать, будто сиятельный Хорикава увлечён этой девицей. Находятся и такие, кто утверждают, будто вся история с ширмой, на которой изображены муки ада, приключилась из-за того, что дочь Ёсихидэ не ответила на высочайшие чувства. Да только это уж и вовсе пустое.

Думается мне, господин потому не стал возвращать дочь отцу, что преисполнился к ней сострадания и не желал обрекать её на жизнь с таким упрямым, но желал, чтобы она жила во дворце, ни в чём не стеснённая, – ибо видел, как она добра сердцем, и стремился явить своё великодушие. Рассказни же, будто интерес его был небескорыстен, – лишь пустые небылицы, для которых нет и не может быть никакого основания...

Так или иначе, из-за дочери Ёсихидэ уже не пользовался такой милостью, как раньше. И бог знает, что замыслил наш господин, но однажды он вдруг призвал художника к себе и велел ему изобразить на ширме муки ада.

6

Стоит заговорить о ширме с муками ада, и я вижу эти страшные образы, как наяву.

Хотя многие художники рисовали ад, картина Ёсихидэ с самого начала не похожа была ни на какую другую. На одной из створок ширмы, в углу, он поместил небольшое изображение Десяти судей²⁶ с прислужниками, остальное же пространство было заполнено адским огнём – казалось, в нём вот-вот сгорят даже Лес Ножей и Гора Мечей. Среди бушующего пламени мелькало там и сям жёлто-синее китайское

²⁶ Десять судей, по японским представлениям, рассматривают в аду поступки умершего и назначают ему наказание.

облачение адских чиновников, мазки туши закручивались в воронки чёрного дыма, разлетались золотые искры.

Одного этого было бы достаточно, чтобы поразить зрителя, но и грешники, сжигаемые пламенем и претерпевающие всевозможные муки, были выписаны совсем иначе, чем на других изображениях ада. Дело в том, что Ёсихидэ нарисовал среди них людей самого разного положения, от высших до низших. Не было им числа: придворные в церемониальных одеяниях, кокетливые молодые дамы в многослойных платьях, буддийские монахи с чётками в руках, школяры в высоких сандалиях-гэта, юные девочки в детских платьях, гадалечи-оммёдзи с жезлами в бумажных лентах. Все они, терзаемые демонами с бычьими и лошадиными головами, метались в огне и дыму, словно листья, гонимые ураганом. Вот женщина – очевидно, жрица-мико – со скрюченными, будто у паука, руками и ногами, а волосы у неё намотаны на рогатину. Вот мужчина – похоже, провинциальный чиновник – с копьём в груди, висит вверх ногами, как летучая мышь. Иных колотили железными палками, другие были придавлены тяжёлыми камнями, третьих клевали чудовищные птицы или кусал ядовитый змей... Карам, как и самим грешникам, не было числа.

И всё же одна сцена пугала особенно: почти задевая острые, будто клыки чудовищ, униженные мертвецами верхушки деревьев в Лесу Ножей, с неба падает карета. Бамбуковые занавески отброшены адским ветром, а внутри женщина в

роскошном придворном платье, чёрные волосы разметались в языках пламени, белая шея выгнута в мучительной агонии. Ничто не говорило о терзаниях в аду так красноречиво, как фигура этой женщины в объятой пламенем карете, – в ней одной будто сосредоточился весь ужас происходящего. Поистине, это была работа гения: стоило посмотреть на картину, и, казалось, можно было даже расслышать душераздирающие крики несчастной.

Из-за этого-то изображения и произошли те страшные события, о которых пойдёт речь дальше. Не случись их – даже сам великий Ёсихидэ не смог бы, пожалуй, так живо изобразить мучения в преисподней. Ширма эта стоила великих страданий – и самой человеческой жизни. А Ёсихидэ, лучший во всей нашей земле художник, оказался в аду, который изобразил.

Но я, торопясь поведать вам историю ширмы, забегаю вперёд. Расскажу лучше о том, что произошло после того, как наш господин повелел Ёсихидэ изобразить муки ада.

7

Следующие пять или шесть месяцев Ёсихидэ не появлялся при дворе, ибо без устали трудился над ширмой. Даже свою дочь не хотел он видеть – не удивительно ли, до чего доходило его рвение? Ученик, про которого говорилось ранее, рассказывал, что Ёсихидэ работал, как одержимый, словно

его зачаровала лиса-оборотень. Тогда ходили слухи, будто он достиг таких высот в живописи потому, что принёс обет богу удачи. В доказательство некоторые даже рассказывали, что видели призрачных лис, обступающих его со всех сторон, когда он рисует. Так что стоило ему взять в руки кисть, как он забывал обо всём, пока не допишет картину. День и ночь напролёт сидел художник, запершись, у себя, и почти не видел солнца. А уж когда Ёсихидэ расписывал ширму с муками ада, работа поглотила его целиком и полностью.

Что ни день, он, опустив занавеси, при свете фонаря смешивал для красок тайные составы, а учеников заставлял одеваться то в такую, то в этакую одежду, чтобы каждого из них тщательно зарисовать. Впрочем, подобные странности водились за ним и раньше, до того, как он взялся за работу над ширмой. Что уж тут говорить – когда Ёсихидэ писал картину с Пятью путями перерождения для храма Рюгайдзи, он, увидев на дороге мертвеца, не поспешил отвернуться, как сделал бы обычный человек, а опустившись перед полуразложившимся трупом на землю, зарисовал его в точности: и лицо, тронутое гниением, и руки – всё до мельчайшей прядки волос. Не каждый способен вообразить, какова была сила одержимости, захватившей Ёсихидэ. Здесь не хватит места описать все подробности, поведаю о главном.

Однажды, когда ученик – которого я то и дело поминаю – растирал краски, его внезапно окликнул учитель:

– Я собираюсь вздремнуть, однако в последнее время ме-

ня часто беспокоят дурные сны.

В этом ничего удивительного не было, и ученик, не отрываясь от своего занятия, лишь почтительно ответил:

– Ах, вот как...

Но что же вы думаете? Ёсихидэ, глядя на него просительно и словно бы смущаясь, промолвил:

– Посиди у моего изголовья, пока я сплю.

Ученику показалось странным, что художник так встревожен дурными снами, тем не менее просьба учителя труда не составляла, и он ответил:

– Как вам угодно.

– Тогда пойдём со мной. И если ещё кто из учеников явится, ко мне в комнату никого не впускай, – сказал Ёсихидэ, по-прежнему будто колеблясь. Он отвёл ученика в мастерскую, где работал, – днём и ночью там за закрытой дверью горели фонари, а вдоль стены стояла ширма, на створках которой были пока лишь углём набросаны эскизы. Придя туда, Ёсихидэ улёгся и, подложив под голову локоть, уснул крепко, как человек, вконец обессиленный.

Не прошло и получаса, как сидевший у изголовья ученик услышал странные, пугающие звуки.

8

Сперва голос был невнятным, но постепенно удалось разобрать отдельные слова – казалось, тонущий человек го-

ворит из-под воды:

– Зачем... зачем ты меня зовёшь? Куда... куда идти?... В ад. В огненный ад... Кто это? Кто это говорит? Кто ты?... А ты как думаешь – кто?

Ученик, забыв о краске, которую растирал, уставился на учителя: изборождённое морщинами лицо покрыла бледность, на лбу крупными каплями выступил пот, губы пересохли, почти беззубый рот хватал воздух. Во рту что-то быстро-быстро двигалось... Да это же язык! Его будто за ниточки дёргали. Обрывочные слова вылетали одно за другим:

– Я всё думал, кто это... А это ты. Мне так и подумалось: наверное, ты. Что, встречаешь? Тогда идём. Идём в ад. В аду... В аду меня ждёт дочь.

Тут уж ученику стало совсем не по себе: почудилось, будто какая-то смутная тень скользит по ширме, спускаясь ниже и ниже. Он, конечно, не утерпел и принялся тормошить Ёсихидэ, пытаясь разбудить, да только тот проснулся совсем не сразу, а всё продолжал говорить с кем-то во сне. В конце концов ученик схватил стоявший рядом сосуд с водой, где мыли кисти, и выплеснул учителю в лицо.

– Я жду, садись в карету! Садись в карету, она привезёт тебя в ад! – проговорил Ёсихидэ, после чего слова перешли в сдавленный стон, и он, наконец распахнув глаза, поднялся рывком, словно в него вонзили иголку. Какое-то время он так и сидел, с открытым ртом и с выражением ужаса на лице глядя в пустоту, как будто ещё пребывал во власти странных

видений, пока наконец не пришёл в себя и не бросил ученику:

– Довольно, теперь уходи!

Ученик, давно выучивший, что спорить с учителем себе дороже, поспешил удалиться. Стоило выйти наружу и увидеть солнечный свет, как ему показалось, что всё случившееся было дурным сном, и он вздохнул с облегчением.

Увы, худшее было впереди. Прошёл месяц, и Ёсихидэ призвал к себе в покои другого ученика. Когда тот вошёл, учитель, как всегда сидевший при тусклом свете масляного фонаря и грызший кисть, вдруг сказал:

– Не сочти за труд, раздёнсья догола.

Ученик, привыкший слушаться, быстро разоблачился, и Ёсихидэ оглядел его со странным выражением.

– Мне нужно увидеть человека, закованного в цепи. Так что прости уж, придётся тебе потерпеть, – сказал художник спокойно, без тени сожаления в голосе.

Ученик был крепким парнем, какого легче было представить с мечом в руках, чем с кистью, но и он, конечно, вздрогнул. После, рассказывая о том случае, он неизменно повторял: «Я уж решил, что учитель повредился умом и того и гляди меня убьёт». Ёсихидэ же, похоже, вышел из терпения и, ни о чём более не спрашивая, чуть ли не прыгнул на спину ученику, вывернул ему руки и скрутил их тонкой стальной цепью, которую неизвестно откуда выхватил. Не ограничившись этим, он рванул за конец цепи, повалив несчастного на

пол с такой силой, что стены затряслись.

9

Следует сказать, что ученик оказался в положении перевернутого кувшина для сакэ: руки и ноги у него были безжалостно заломлены и стянуты, так что он не мог и пошевелить ничем, кроме головы. Телосложения парень был дородного, и теперь цепи врезались в тело, вызывая застой крови, так что и лицо, и туловище побагровели. Ёсихидэ, однако, это совсем не беспокоило: он лишь расхаживал вокруг, внимательно рассматривая несчастного, и в конце концов сделал несколько набросков, на первый взгляд совершенно одинаковых. Не стану утомлять вас рассказами о том, как страдал закованный ученик.

Неизвестно, сколько продлилась бы эта пытка. К счастью (или, лучше сказать, к несчастью), вскоре случилось вот что: из тёмного угла комнаты, где стоял глиняный горшок, извиваясь, показалась тёмная полоска, похожая на струйку нефти. Сперва она двигалась медленно, будто прилипая к полу, постепенно заскользила более плавно и быстро; когда она, поблёскивая, подползла к самому носу ученика, тот, не помня себя, охнул и закричал: «Змея! Змея!». Он рассказывал потом, что в тот момент кровь буквально застыла у него в жилах – и не мудрено: существо и впрямь уже почти прикоснулось кончиком холодного языка к его шее, обмотан-

ной врезавшейся в кожу цепью. Тут уж перепугался даже такой упрямец, как Ёсихидэ. Отбросив кисть, он мгновенно нагнулся, схватил змею и поднял её за хвост – и, как она ни старалась, вывернуться и дотянуться до его руки ей не удалось.

– Из-за этакой твари у меня кисть не туда повело! – сердито пробормотал художник и, швырнув змею в горшок в углу, неохотно освободил ученика от цепей. Впрочем, ни одного доброго слова несчастный так и не услышал. Видно, Ёсихидэ и впрямь куда больше был раздосадован тем, что линия на картине получилась несовершенной, нежели тем, что змея едва не укусила ученика. Рассказывали, будто держал он её нарочно, чтобы рисовать с натуры.

Полагаю, услышав всё это, вы уже составили представление о пугающей, граничащей с помешательством одержимости Ёсихидэ. Добавлю лишь ещё одну историю: другой его ученик, которому в ту пору было лет тринадцать-четырнадцать, из-за ширмы с муками ада тоже натерпелся страха – и чуть не лишился жизни. Он от рождения отличался нежной, как у женщины, белой кожей. И вот как-то раз, среди ночи, Ёсихидэ вдруг повелел ему явиться, а явившись, он увидел, что учитель при свете фонаря кормит с руки сырым мясом какую-то невиданную птицу – величиной с кошку, та и видом напоминала её: по бокам головы, будто уши, торчали два пера, а огромные глаза были круглыми, янтарного цвета, наподобие кошачьих.

Ёсихидэ не любил, когда суют нос в его дела; ученики знать не знали, что скрывается в мастерской – взять хоть ту же змею. Стоило ему приняться за очередную картину, и в комнате обнаруживались самые неожиданные вещи: то человеческий череп на столе, а то – серебряные чаши и лакированный, расписанный золотом поднос. Никто не знал, что становится с диковинками потом. Видно, оттого и ходили слухи, будто Ёсихидэ помогает само божество удачи.

Ученик, узрев на столе странную птицу, подумал про себя, что она понадобилась для ширмы с муками ада, и почти-точно обратился к учителю:

– Что вам будет угодно?

Тот же, будто не слыша, облизнул алые губы и кивнул в сторону птицы:

– Каково? Совсем ручной, да?

– Что это за птица, сэнсэй? – спросил ученик. – Никогда такой не видел.

Ушастое, похожее на кошку существо тем временем тараторило на него самым пристальным и угрожающим образом.

– Не видел? Ничего-то вы, городские, не знаете, – бросил Ёсихидэ обычным насмешливым тоном. – Это же филин! Мне его на днях доставил охотник из Курамы. Такого обученного редко встретишь. – С этими словами он медлен-

но поднёс руку к птице, которая как раз покончила с трапезой, и провёл рукой ей по спине – снизу вверх, «против шерсти». Тут-то всё и случилось. Издав короткий, резкий крик, филин вдруг взлетел со стола и, вытянув когтистые лапы, бросился прямо в лицо ученику – так что располосовал бы его непременно, если бы тот не поспешил прикрыться рукавом. Мальчик с воплем попытался стряхнуть птицу, но та расвиrepела и атаковала его снова и снова, щёлкая клювом. Несчастный, совсем забыв о присутствии учителя, заметался по тесной мастерской и не мог ни встать, ни сесть, чтобы не подвергнуться атаке. Страшную же птицу его попытки лишь раззадоривали, и она, то взлетая к потолку, то припадая к полу, бросалась на него с молниеносной быстротой, каждый раз метя прямо в глаза. Хлопанье чудовищных крыльев казалось особенно жутким, вызывая в памяти шум водопада, запах прелых листьев и «обезьяньего сакэ» – перебродивших фруктов в дуплах и под камнями. Бедному ученику от ужаса стало мерещиться, будто тусклый свет фонаря – это сиянье луны, а мастерская художника – расщелина в далёких горах, где обитают злые духи.

И всё же не только нападение филина так его напугало. Нет, едва ли не страшнее, чем крылатое чудовище, был вид Ёсихидэ, который, равнодушно глядя на царящий переполох, развернул бумагу и, облизывая кисть, принялся зарисовывать чудовищную сцену: зловещая птица терзает нежного, будто девица, отрока. Ученик после рассказывал, как волосы

зашевелились у него на голове, когда он увидел учителя: ему почудилось, что тот и впрямь готов его погубить.

11

Надо сказать, боялся он не напрасно: похоже, Ёсихидэ нарочно вызвал тем вечером ученика, чтобы напустить на него филина и заставить отбиваться. Потому, стоило юноше бросить взгляд на учителя и увидеть, что тот рисует, как он, не помня себя от страха, завопил и, закрывая голову руками, забился в угол комнаты. В этот момент Ёсихидэ, вскрикнув, поспешно вскочил, филин захлопал крыльями ещё сильнее, раздался грохот и звон, будто что-то разбилось. Ученик, едва не теряя рассудок, поднял голову и оглянулся – но в мастерской теперь было темно, хоть глаз выколи. Из мрака был слышен только сердитый голос Ёсихидэ, сзывавшего остальных учеников.

Наконец кто-то из них отозвался издалека и вскоре прибежал в мастерскую с огнём. При свете коптящего фонаря стало видно: светильник Ёсихидэ опрокинут, циновки-татами залиты маслом, филин кружится на одном месте, волоча крыло. Сам художник сидел, опираясь о стол, с потрясённым лицом и бормотал что-то невнятное. И не зря: вокруг филина, от крыла до шеи, туго обвилась чёрная змея! По всей видимости, ученик, забившись в угол, опрокинул горшок, змея выползла, филин же попытался её поймать, отчего и произо-

шла вся суматоха. Оба ученика встретились глазами и какое-то время стояли неподвижно, созерцая поразительную картину; затем, молча поклонившись учителю, тихонько выскользнули из комнаты. Что случилось дальше со змеёй и филином, никому не ведомо.

Много было и других подобных случаев. Следовало, наверное, упомянуть ранее, что повеление расписать ширму Ёсихидэ получил в начале осени – и до самого конца зимы ученики принуждены были терпеть странные и пугающие выходки. Однако ближе к весне в работе как будто возникла заминка, отчего художник заметно помрачнел и разговаривать стал ещё грубее. Картина на ширме, уже близившаяся к завершению, так и оставалась недоделанной. Куда там! Ёсихидэ и уже нарисованное норовил стереть и переделать.

Чем именно он был так недоволен, никто не знал – да никто и не доискивался: подмастерья, наученные горьким опытом, чувствовали себя рядом с художником, будто в клетке с волком, и старались держаться от него подальше.

12

Потому о происходивших в то время событиях рассказать нечего: разве упомянуть, что старый упрямец стал вдруг до странности слезлив и частенько плакал, оставшись в одиночестве. Однажды ученик, зачем-то пойдя в сад, заметил, что учитель стоит на веранде, глядя в февральское небо, и глаза

его полны слёз. При виде такого юноша смутился и тихонько ушёл. Не странно ли, что гордец, который, и бровью не поведя, остановился на дороге, чтобы зарисовать труп для картины с Пятью путями перерождения, теперь рыдал, как ребёнок, – оттого лишь, что не выходила картина на ширме?

В то время как Ёсихидэ с такой одержимостью, утратив всякий здравый смысл, работал над изображением адских мук, его дочь постепенно становилась всё грустнее, и мы часто видели, что она едва сдерживает слёзы. Она всегда была девицей скромной, с бледным, грустным лицом, и, когда готова была заплакать, её ресницы будто тяжелели, а под глазами залегали глубокие тени, так что смотреть на неё было нестерпимо печально. Сперва мы думали, что девушка беспокоится об отце, или её гнетёт тайная любовь, потом поползли слухи, будто её домогается наш господин, а потом, как по приказу, слухи вдруг прекратились, и больше о ней никто не говорил.

Как раз в то время произошёл такой случай. Однажды вечером я шёл по пустынной галерее, когда передо мной вдруг появилась обезьянка по прозвищу Ёсихидэ и потянула меня за подол шаровар-хакама. Помнится, ночь была тёплая, и в бледном свете луны казалось, будто в воздухе вот-вот повеет ароматом цветущей сливы... но вместо цветов перед глазами у меня оказался зверёк, который скалился и морщил нос, при этом громко крича. Зрелище вызвало у меня отвращение, а пуще того – досаду от того, что обезьянка дёрга-

ла новые хакама. Я хотел было отпихнуть её ногой и пройти дальше, но вспомнил, как молодой господин рассердился на приближённого, посмеявшегося тронуть животное. К тому же и поведение обезьянки, как ни крути, было необычным. Подумав так, я решительно последовал за ней и прошёл несколько десятков шагов.

Там, за поворотом, открывался вид на бледную в ночном сумраке гладь дворцового пруда, над которым, изящно изогнувшись, протянула ветви сосна. Слух мой был немедленно оскорблён шумом из соседнего покоя: там кто-то спорил, приглушённо, но яростно. Кроме этого, не было слышно ни звука – разве что плеск рыбы в воде, над которой туман мешался с лунным светом. Услышав в этом безмолвии голоса, я враз остановился: неужели злоумышленники? Я решил застать их врасплох и осторожно, не дыша, подобрался к раздвижной перегородке.

13

Обезьянка, видимо, была недовольна, что я не тороплюсь. В тревоге она несколько раз обежала меня кругом, затем, полугадушено заверещав, вдруг одним прыжком вскочила мне на плечо. Я безотчётно встряхнул головой, чтобы мне в шею не вонзились когти, и она, пытаясь удержаться, вцепилась в рукав; потеряв равновесие, я отступил назад и, едва не упав навзничь, врезался в раздвижную перегородку. Больше раз-

думывать было нельзя. Мгновенно распахнув дверь, я изготовился прыгнуть вглубь комнаты, куда не проникал лунный свет. Но тут что-то перекрыло мне обзор – точнее сказать, кто-то бросился мне навстречу, прочь из покоев. Это была женщина: едва не столкнувшись со мной, она выбежала наружу и упала на колени. Дрожа и хватая ртом воздух, она подняла на меня глаза с таким выражением, как будто видела перед собой нечто ужасное.

Не стоит и говорить, что я увидел дочь Ёсихидэ. Только в тот вечер она в своём волнении была совсем на себя непохожа: блестящие глаза широко распахнуты, щёки пылают, платье и хакама в беспорядке... Выглядела она куда приятательнее, чем со своим обычным полудетским выражением лица. Глазам не верилось: неужели это та самая тихоня и скромница? Прислонившись к двери, я смотрел на красавицу в лунном свете и, услышав торопливо удаляющиеся шаги, одним лишь взглядом спросил, кто это мог был.

Закусив губу, девушка с самым жалостным видом покачала головой.

Склонившись, я тихонько прошептал ей в самое ухо: «Кто?» Она вновь покачала головой, так ничего и не ответив, и лишь крепче сжала губы; слёзы стояли у неё в глазах и дрожали на длинных ресницах.

Я по натуре человек простой, недогадливый и понимаю только то, что уж совсем яснее ясного, а потому не знал в тот момент, что и сказать. Какое-то время я стоял, замерев

и прислушиваясь к тому, как колотится сердце в груди у девушки. Мне отчего-то казалось, что неловко расспрашивать её далее.

Не знаю, сколько прошло времени. В конце концов я задвинул открытую дверь и, как мог мягко, сказал девушке, которая как будто немного успокоилась: «Иди к себе». Меня самого мучили смутная тревога, словно я увидел нечто, не предназначенное для моих глаз, и неловкость – бог знает, перед кем. Не успел я, однако, пройти и десяти шагов, как кто-то осторожно потянул меня сзади за край хакама, и я, удивлённый, обернулся. Кого же, вы думаете, я там увидел?

Обезьянка по кличке Ёсихидэ, сложив руки, будто человек, почтительно кланялась мне, а на шее у неё звенел золотой бубенчик.

14

С того вечера прошло полмесяца или вроде того. Однажды Ёсихидэ, явившись во дворец, попросил, чтобы ему позволили предстать перед нашим господином. Будучи человеком невысокого звания, он, вероятно, осмеливался делать такое, потому что с давних пор пользовался у сиятельного Хорикавы особенным расположением. Вот и в тот день наш господин, который далеко не каждого удостоивал подобной милости, с готовностью дал соизволение и приказал немедленно провести художника к себе. Тот, как всегда, одетый в

красно-коричневую накидку-карагину и потрёпанную шапку-эбоси, выглядел ещё угрюмее обычного. Почтительно поклонившись, Ёсихидэ хриплым голосом произнёс:

– Вы изволили заказать мне ширму с изображением ада. Я работал над ней, не покладая рук, день и ночь, и мои усилия принесли плоды: картина почти закончена.

– Прекрасные новости. Я доволен, – сказал господин, хотя в его голосе отчего-то не было ни живости, ни убеждённости.

– Увы, новости совсем не прекрасны, – возразил Ёсихидэ, с раздосадованным видом глядя в пол. – Большую часть я нарисовал, но есть одна вещь, которую я изобразить никак не могу.

– Не можешь изобразить?

– Не могу. Я никогда не рисую того, чего не видел своими глазами. А если нарисую, ни за что не останусь доволен. Разве это не то же самое, что «не могу изобразить»?

Наш господин, услышав такие слова, улыбнулся насмешливо:

– Как же тогда ты рисуешь муки ада – ведь ты никогда его не видел?

– Ваша правда. Только в прошлом году был большой пожар, и я наблюдал совсем близко огонь, похожий на адский. Потому-то я и смог нарисовать бога Фудо-Мёо в языках пламени – наверное, вы изволите знать эту картину.

– А что же насчёт грешников в аду? Или демонов – их ты вряд ли видел? – будто и не слушая, продолжал спрашивать

господин.

– Я видел людей, скованных железными цепями. Есть у меня и подробные зарисовки того, как человека терзает чудовищная птица. Так что нельзя утверждать, что я совсем не созерцал мучений грешников. Что же до демонов... – Тут на губах у Ёсихидэ появилась жутковатая усмешка. – Что до демонов, их я множество раз видел собственными глазами во сне. Есть среди них и с бычьими головами, и с лошадиными, есть с тремя лицами и шестью руками, они безмолвно хлопают в ладоши, беззвучно разевают рты и приходят терзать меня почти каждую ночь... Нет, не про них я думал, когда говорил, что не могу изобразить того, чего не видел.

Даже господин наш, похоже, был поражён, услышав такое. Некоторое время он сурово смотрел Ёсихидэ в лицо.

– Чего же ты не можешь изобразить, потому что не видел? – спросил он в конце концов, нахмутив брови.

15

– Посреди ширмы я хочу нарисовать богатый экипаж, плетёный из пальмовых листьев, который падает с неба, – сказал Ёсихидэ и, впервые подняв глаза, пристально посмотрел на господина. Мне приходилось слышать, что художник наш делается будто безумный, когда говорит о картинах. – А в экипаже – красавица знатного рода, рассыпавшиеся волосы объяты огнём, она корчится в агонии. Задыхается в дыму,

лицо искажено, она поднимает взгляд вверх, к потолку кареты. Рукой цепляется за бамбуковую занавеску, пытаясь защититься от града огненных искр. Вокруг падающей кареты, щёлкая клювами в ожидании, кружит десяток-другой хищных птиц... Вот эту-то сцену я никак и не могу изобразить.

– И что же из того? – подбодрил наш господин Ёсихидэ с каким-то странным воодушевлением.

Алые губы художника задрожали, словно его лихорадило.

– Я не могу этого изобразить, – повторил он, как во сне, и вдруг с горячностью вскричал: – Я бы хотел, чтобы вы повелели поставить передо мной карету и поджечь её. А в ней, если возможно...

Господин наш помрачнел, а потом вдруг громко расхохотался – и, задыхаясь от смеха, проговорил:

– О, я сделаю, как ты хочешь. Возможно, невозможно – о том не беспокойся.

При этих словах меня пронизало предчувствие чего-то ужасного. И правда – в тот момент казалось, что безумие Ёсихидэ заразило и господина: в углах рта у него показалась белая пена, а по нахмуренному лбу словно молнии пробежали. Едва договорив, он вновь разразился громовым смехом.

– Что ж, подожгу для тебя экипаж, – произнёс господин сквозь хохот. – А внутрь посадим красавицу в богатых одеяниях, и пусть погибнет она там в муках, объятая пламенем и задыхаясь в чёрном дыму. Кто мог такое придумать, как не величайший в мире художник? Моё почтение тебе, Ёсихидэ.

Моё почтение.

Ёсихидэ, услышав это, побелел и какое-то время лишь хватал ртом воздух, но в конце концов упал перед господином, прижав обе руки к татами.

— Благодарю вас за милость! — проговорил он почти неслышно, склоняясь в почтительном поклоне. Быть может, сиятельные слова заставили его впервые увидеть мысленным взором весь ужас задуманного. Так или иначе, тогда мне единственный раз в жизни стало жаль Ёсихидэ.

16

Прошло два-три дня, и наш господин, как изволил обещать, пригласил вечером Ёсихидэ, чтобы тот посмотрел на сожжение кареты. Конечно, случилось это не во дворце Хорикавы. Было выбрана загородная резиденция, называемая обычно Юкигэ — Павильоном тающих снегов, где раньше проживала старшая сестра нашего господина.

Во дворце Юкигэ давно уже никто не жил, и большой сад был совсем заброшен. Оттого, вероятно, те, кому довелось увидеть тамошнее запустение, рассказывали странное — например, про младшую сестру господина, которая там скончалась. Утверждали, что в безлунные ночи по галереям, не касаясь земли, проплывают её алые хакама... Неудивительно, что шли такие слухи: покинутый дворец и днём производил гнетущее впечатление, а уж после заката там и вовсе ста-

новилося жутко, так що і плеск води в саду, і силуэт ночної цапли, пролетівшої на фоні зв'язного неба, казалися причудливими і зловещими.

Ночь видалася тёмная, безлунная. При свете масляных фонарей я увидел на веранде господина – одетый в жёлтый кафтан-наоси и тёмно-лиловые хакама с гербами, он, скрестив ноги, сидел на возвышении, покрытом обшитыми белой парчой подушками. По сторонам, разумеется, почтительно стояло с полдюжины приближённых. Среди них привлекал внимание могучий воин, сражавшийся прежде против северных варваров; про него говорили, будто там, на севере, он пережил голод, питаясь человеческим мясом, и будто он способен голыми руками отломать рог живому оленю. Воин с суровым видом сидел у края веранды, одетый в доспехи, с длинным мечом, что торчал из-за пояса, изгибаясь как ласточкин хвост. В неверном, колеблющемся свете фонарей трудно было понять, наяву мы или во сне.

В саду же стоял богатый экипаж – на фоне ночного мрака виднелись очертания высокой крыши. Волон в него не запрягали, и чёрные лакированные оглобли были опущены на подставку; золотая отделка блистала, словно россыпи звёзд. При виде этой картины даже тёплой весенней ночью по коже пробегал холодок. Синие занавеси с вышитой каймой были плотно закрыты, скрывая от глаз то, что находилось внутри. Карету окружали слуги: они держали в руках пылающие сосновые факелы, стараясь, однакo, чтобы дым от них не шёл в

сторону господина.

Поодаль, как раз напротив веранды, сидел Ёсихидэ в своей обычной коричневой накидке и мягкой чёрной шапке. Казалось, на него давила тяжесть звёздного неба: он будто съёжился и выглядел ещё более непритязательно, чем обычно. Рядом с ним находился ещё один человек в похожей одежде – видимо, кто-то из учеников. Оба сидели так далеко от меня, что со своего места возле веранды я едва мог разобрать в темноте цвета их накидок.

17

Думаю, время близилось к полуночи. Во тьме, окутавшей сад и пруд, все голоса смолкли, и воцарилась такая тишина, что, казалось, можно было расслышать дыхание каждого; только шелестел ветер, порывы которого доносили до нас дым и копоть от факелов. Молчал и наш господин, созерцая эту необыкновенную картину. Наконец он подался вперёд и резко позвал:

– Ёсихидэ!

Тот откликнулся, но до меня донёсся только невнятный звук, похожий на стон.

– Ёсихидэ, этой ночью я исполню твоё желание и сожгу карету, – сказал господин и обвёл глазами приближённых. С некоторыми он обменялся многозначительной улыбкой, впрочем, возможно, мне померещилось. Ёсихидэ нерешит-

тельно поднял голову и посмотрел на веранду.

– Смотри, – продолжал наш господин. – Это экипаж, в котором я езжу каждый день, наверняка ты его помнишь. Сейчас его подожгут, и ты своими глазами увидишь, как выглядит огненный ад. – Произнеся это, господин умолк и подал знак служителям, после чего неожиданно горько усмехнулся. – Внутри находится одна преступница. Она хорошо связана. После того, как карета загорится, её ждёт мучительная смерть – огонь испепелит плоть и обуглит кости. А ты сможешь дописать с натуры картину на ширме. Смотри хорошенько, как будет гореть белоснежная кожа, как обратятся в пепел чёрные волосы! Ничего не упusti!

Тут наш господин умолк в третий раз. О чём он изволил размышлять, неизвестно, только на этот раз плечи его задрожали – он беззвучно смеялся.

– Никогда мир не видел ничего подобного – и не увидит. Погляжу с тобой и я. Раскройте окна, пусть Ёсихидэ полюбуется, кто внутри.

Услышав приказ господина, один из слуг, высоко держа факел, приблизился к экипажу и свободной рукой поднял занавески. В красноватом свете потрескивающего пламени нам предстало ужасное зрелище: внутри, в тесноте, сидела закованная в цепи женщина. И кто же? Ошибиться было невозможно. Гладкие блестящие волосы ниспадали на богато расшитую накидку-карагину с узором в виде ветвей цветущей сакуры, в волосах поблёскивали золотые заколки...

Несмотря на непривычный наряд, сомнений не было: миниатюрная, с белоснежной кожей, с печальным профилем – это была дочь Ёсихидэ! Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть.

Но тут воин, сидевший напротив меня, молниеносно поднялся, положив ладонь на рукоять меча и сверля взглядом Ёсихидэ. Удивлённый, я проследил за его взглядом: художник, похоже, едва не лишился рассудка от представшей перед ним картины. До сих пор он сидел на коленях, теперь же вскочил на ноги и протягивал обе руки к карете – кажется, готовый туда броситься. Как я говорил, находился он в тени, поэтому разглядеть лица я не мог. Но стоило мне подумать об этом, как я вдруг увидел его с невероятной ясностью – и лицо, и весь облик, будто вырванные вспышкой из мрака.

– Поджигайте! – приказал господин, и экипаж, где сидела девушка, мгновенно запылал, воспламенившись от брошенного факела.

18

Огонь на глазах охватил карету. Повалил густой дым, белый на фоне ночной тьмы, в потоках горячего воздуха закачались лиловые кисти на крыше, в воздух взвились снопы искр. Одновременно вспыхнуло всё: и бамбуковые занавески, и стенки, и крыша с золотой отделкой. О, как страшно это было! Будто само солнце упало на землю – такими яркими были языки пламени, взмывающие чуть ли не до неба

и яростно лижущие оконный переплёт. Я чуть не закричал вначале, но теперь у меня язык прилип к гортани, душа едва не рассталась с телом, и я мог лишь безмолвно, с разинутым ртом смотреть на чудовищное зрелище. Что же до отца девушки, Ёсихидэ...

Никогда мне не забыть его лица в тот момент. Он бросился к карете, однако, когда взметнулось пламя, застыл на месте с протянутыми руками, пожирая глазами окутавшие повозку клубы дыма и языки огня. В свете пожара его безобразное, изборождённое морщинами лицо было видно очень ясно, вплоть до последнего волоска. В широко распахнутых глазах, в кривящихся губах, в подёргивании щеки – во всём читались ужас, тоска и ошеломление, сменявшие друг друга в его душе. Даже у разбойника на эшафоте, даже у грешника, представшего перед Десятью судьями ада, наверное, не выражалось на лице такого страдания. Стоявший перед Ёсихидэ воин, увидев это, вдруг побледнел и с трепетом обратил взор к нашему господину.

Что же до того, он, крепко закусив губу, неотрывно смотрел на экипаж, время от времени недобро усмехаясь. А в карете... о, не думаю, что у меня хватит смелости описать подробно, как выглядела девушка в карете. Белое лицо, обращённое вверх в попытке спастись от удушливого дыма, волосы, разметавшиеся в беспорядке, и красивая накидка с цветами сакуры, которые на глазах пожирало пламя, – картина была поистине душераздирающей. В те секунды, когда

дувший с гор ночной ветер относил в сторону дым, фигура несчастной выступала из пламени среди рассыпавшихся алых искр, и было видно, как она грызёт пряди волос и бьётся так, что, казалось, вот-вот порвутся железные цепи. От зрелища адских мук, развернувшегося перед глазами, кровь стыла в жилах не только у меня, но и у всех – включая сурового воина.

Новый порыв ветра зашуршал верхушками деревьев. Тёмная тень невесты откуда пронеслась, словно мяч, между землёй и небом и влетела с крыши дворца прямо в пылающую карету. Среди рассыпающихся оконных решёток, покрытых багровым лаком, тень прильнула к плечу девушки, и из клубов дыма донёсся резкий, как треск ткани, крик – крик невыразимой боли, который повторился вновь... и вновь... Тут и все невольно вскрикнули в ответ. На фоне стены огня стало видно, что к девушке прижалась обезьянка по кличке Ёсихидэ, которую оставили привязанной во дворце Хорикавы. Неизвестно, как она преодолела весь путь оттуда до загородной резиденции. Видно, даже бессловесная зверушка испытывала такую благодарность девушке за заботу, что готова была сгореть вместе с ней.

Обезьянка, впрочем, мелькнула лишь на мгновение. Фейерверк искр взметнулся в небо брызгами золотой краски, и

вот уже и обезьянку, и девушку заволокло чёрным дымом, словно карета посреди сада была соткана из языков пламени, издававших ужасный треск. Да и не карета уже, а огненный столп, поднимавшийся к звёздному небу, – иначе и не скажешь про этот чудовищный костёр.

До чего же странно было видеть застывшего перед огненным столпом Ёсихидэ. Сперва казалось, что художник сам переживает адские муки, теперь же он, словно забыв, что находится в присутствии господина, стоял со скрещёнными на груди руками, а на его морщинистом лице был разлит нездешний свет – восторг сродни исступлению. Казалось, он не видел, что его дочь погибает в муках, – нет, он любовался оттенками пламени и фигурой страдающей женщины, восхищаясь их красотой в своём сердце.

Но не только то было странно, что он словно бы наслаждался, видя последние мгновения единственной дочери. В этот момент Ёсихидэ выглядел так величественно, что и во все не походил на человека, – будто разгневанный предводитель львов, явившийся из грёз. Даже ночные птицы, перепуганные пожаром и с криками метавшиеся над нами, не смели приближаться к тому месту, где стоял художник в своей чёрной шапке. Неразумные твари – и те видели необыкновенное величие, которое излучала его фигура.

А если могли видеть птицы – что уж говорить о нас: мы все затаили дыхание и со странным трепетом, с восторгом в сердце неотрывно глядели на художника, словно на наших

глазах родился новый Будда. Какое это было совершенство, какой экстаз – ревущее пламя до небес, в котором сгорала карета, и неподвижная фигура Ёсихидэ! И лишь наш господин, сидевший на веранде, был сам на себя не похож: с побелевшим лицом, с пеной в уголках рта, он вцепился в лиловую ткань шаровар на коленях и хватал ртом воздух, будто измученное жаждой животное...

20

Вскоре о том, как господин приказал сжечь экипаж во дворце Юкигэ, поползли слухи, и люди стали сплетничать на разные лады. Больше всего их занимал вопрос: почему сительный Хорикава сжёг дочь Ёсихидэ? Поговаривали, что это была месть за отвергнутую любовь. Однако нет никаких сомнений, что не в этом состояло намерение нашего господина – он желал покарать заносчивого художника, осмелившегося требовать сожжения кареты и убийства лишь ради того, чтобы закончить картину на ширме. Я и сам слышал, как господин говорил об этом напрямую.

Много обсуждали и то равнодушие, с каким художник встретил гибель дочери – она, мол, сгорела у него на глазах, а он всё равно хочет дописать картину. Некоторые даже слали Ёсихидэ проклятия, говоря, что ему неизвестна отцовская любовь и он не что иное, как лютый зверь, принявший обличье человека. Настоятель храма в Ёгаве, в частности, не раз

повторял: «Как бы ни был человек талантлив, а только всё равно его ждёт ад, если он не следует пяти конфуцианским добродетелям».

Прошло около месяца, и ширма с изображением мук ада была наконец завершена. Ёсихидэ сразу же доставил её во дворец и почтительно преподнёс нашему господину.

Присутствовал при том и настоятель. Стоило ему взглянуть на картину, как его потрясло изображение пламени, охватившего небо и землю. До того момента он смотрел на Ёсихидэ хмуро, но тут, поддавшись порыву, хлопнул себя по колену и воскликнул: «Это шедевр!» Я и поныне не могу забыть, как наш господин, услышав это, горько усмехнулся.

С тех пор никто уже не говорил о Ёсихидэ плохо – по крайней мере, во дворце. Быть может, оттого, что всякий, кто видел ширму, как бы ни был он настроен против художника, всем сердцем ощущал её величие и проживал в душе своей неизъяснимые страдания, выпадающие на долю грешника в огненном аду.

Сам же Ёсихидэ к тому времени покинул наш мир. На следующую ночь после того, как была закончена картина на ширме, он повесился, перекинув верёвку через балку в собственной мастерской. Видно, потеряв единственную дочь, он не мог дальше жить в покое. Могила Ёсихидэ находится в развалинах его дома. Она отмечена небольшим надгробным камнем, который точит ветер и омывают дожди; теперь, через несколько десятков лет, он совсем оброс мхом – и не раз-

берёшь, кто похоронен на этом месте.

Апрель 1918 г.

Учитель Мори

Однажды вечером на склоне года мы с моим приятелем-критиком шли под облетевшими ивами в сторону моста Канда по так называемой «улице маленького человека» – про неё писал Симадзаки Тосон, горячо призывая её обитателей: «Держите голову выше!»²⁷ Вокруг, куда ни глянь, сновали в сумерках люди – видимо, мелкие чиновники, те самые, что носили за поясом кимоно вошедшую в поговорку коробочку с обедом. Казалось, они, как и я, пытаются стряхнуть уныние – и не могут. Мы с приятелем бок о бок, соприкасаясь рукавами пальто, в полном молчании торопливо прошагали до станции Отэмати. Когда мы её миновали, мой спутник, бросив взгляд на озябших людей у красного столба, отмечавшего трамвайную остановку, вдруг вздрогнул и пробормотал:

– Мори-сэнсэй вспоминается.

– А кто это?

– Был у меня такой учитель в средней школе. Я тебе не рассказывал?

²⁷ Фраза из рассказа Симадзаки Тосона (1872–1943) «Намики» («Аллея»), в котором описывается жизнь мелкого служащего; «улицей маленького человека» герой Симадзаки называет район в Токио, где сосредоточено большое количество правительственных учреждений. Таких мелких служащих по-японски называют буквально «обед за поясом» (яп. «косибэн») – подразумевается, что его обладатель не может позволить себе пообедать в кафе и вынужден довольствоваться едой, принесённой в засунутой за пояс кимоно коробочке.

Вместо того чтобы сказать «нет», я молча опустил козырёк кепки. Ниже я привожу то, что товарищ поведал мне по дороге.

Лет десять назад я учился в префектуральной средней школе, в третьем классе²⁸. Английский у нас преподавал молодой учитель по фамилии Адати, но на зимних каникулах он заболел гриппом, перешедшим в воспаление лёгких, и скоропостижно скончался. Произошло всё так внезапно, что у руководства школы не было времени искать подходящую замену, и оно, видимо, ухватилось за последнюю соломинку: уроки вместо Адати-сэнсэя поручили вести пожилому учителю по фамилии Мори, который преподавал английский в какой-то частной школе.

Впервые я увидел его в тот день, когда он приступил к занятиям, после обеда. Нас, третьеклассников, распирало от любопытства – всем хотелось поскорее взглянуть на нового учителя. Едва в коридоре послышались шаги, как в классной комнате – холодной и уже погрузившейся в предвечернюю тень – стало необычайно тихо. Но когда шаги достигли нашей двери и она открылась... даже сейчас, когда я рассказываю, картина ясно встаёт у меня перед глазами. Из-за

²⁸ Японская средняя школа следует за шестилетней начальной, поэтому в третий класс ученики приходят в возрасте 14–15 лет.

маленького роста Мори-сэнсэй больше всего напоминал балаганного уродца – человека с паучьим телом, которого часто показывают на храмовых праздниках. Жутковатое впечатление отчасти сглаживала блестящая, совершенно лысая голова – почти красивая в своём роде; лишь на затылке сохранилось немного седоватых волос, в остальном же она как две капли воды походила на страусиное яйцо с картинки в учебнике по естествознанию. Наконец, от всех прочих людей Мори-сэнсэя отличал странный сюртук-визитка – когда-то, вероятно, бывший чёрным, но от старости выцветший до синевы. К тому же мне на удивление отчётливо запомнился пышный галстук-бабочка ярчайшего, буквально кричащего лилового цвета, украшавший грязный воротник сорочки. Неудивительно, что, когда учитель вошёл, в разных углах послышалось сдавленное хихиканье.

Мори-сэнсэй с хрестоматией и классным журналом под мышкой, совершенно невозмутимо, будто в комнате не было ни души, поднялся на кафедру и в ответ на наше приветствие весьма добродушно, с благожелательной улыбкой на бледном, нездорового цвета лице, звонко воскликнул:

– Господа!

За три года в средней школе ни один учитель не называл нас «господами», поэтому, услышав от Мори-сэнсэя такое обращение, все пришли в изумление. Мы предвкушали, что последует большая речь, например, о программе грядущего семестра.

Но Мори-сэнсэй, сказав: «Господа!» – некоторое время просто молчал, обводя взглядом класс. На старчески обвисшем лице играла спокойная улыбка, но уголок рта нервно подёргивался, а в ясных глазах, чем-то напоминавших коровьи, поблёскивал тревожный огонёк. Казалось, он хочет о чём-то нас попросить, но не решается сказать вслух, – и при этом сам не понимает о чём.

– Господа! – повторил Мори-сэнсэй тем же тоном, будто желая ещё раз услышать, как это прозвучит. После чего быстро добавил: – С сегодняшнего дня я буду заниматься с вами по хрестоматии «Избранное чтение».

Наше любопытство нарастало, поднявшийся было в классе шум затих, и все с интересом разглядывали учителя. Мори-сэнсэй, однако, обведя умоляющим взглядом класс, вдруг рухнул на стул – так внезапно, словно внутри у него соскочила пружинка. Распахнув классный журнал, лежавший рядом с уже открытой хрестоматией, он устремил взгляд на список учеников. Всех, конечно, разочаровало столь внезапное завершение приветственной речи – и не просто разочаровало, а показалось неимоверно нелепым.

По счастью, до общего хохота дело не дошло; учитель поднял коровьи глаза от журнала и, не мешкая более, назвал одну из фамилий – с добавлением вежливого «сан». Это был знак встать и отвечать; вызванный ученик начал с типичным для токийского школьника видом всезнайки переводить отрывок из «Робинзона Крузо». Мори-сэнсэй, теребя лиловый

галстук, скрупулёзно исправлял ошибки – вплоть до погрешностей в произношении. У него самого выговор был несколько неестественный, но в целом чёткий и внятный, чем он, похоже, гордился.

Однако, когда ученик сел на место и переводить взялся учитель, в классе вновь раздались смешки: Мори-сэнсэй, уделявший столько внимания произношению, удивительно плохо для японца знал родные слова – или, по крайней мере, плохо их помнил. Поэтому перевод одной строчки звучал примерно так:

– И тогда Робинзон Крузо принял решение оставить её у себя. Кого оставить? Такое животное странное... в зоопарке много... как же их... кривляются ещё... вы наверняка знаете! Морды красные... как там, обезьяны? Да-да, обезьяну. Решил оставить у себя обезьяну.

Если уж слово «обезьяна» вызывало затруднения, то в более сложных случаях Мори-сэнсэй ходил вокруг да около бесконечно, в тщетных попытках подобрать перевод. Каждый раз он очень волновался, хватался за горло, едва не срывая лиловый галстук, лихорадочно смотрел по сторонам с растерянным видом – потом вдруг обхватывал руками лысую голову и утыкался лицом в стол, утратив всякое достоинство и показывая, что зашёл в тупик. Казалось, щуплое тело его сдувается, как воздушный шарик, а бессильно свешенные со стула ноги болтаются без опоры. Выглядело это забавно, и ученики, конечно, посмеивались. Пока учи-

тель по два-три раза повторял перевод, смех всё усиливался, и в конце концов даже за передней партой покатывались, не скрываясь. Как больно, наверное, было добросердечному Мори-сэнсёу слышать наш бездушный гогот! Стоит об этом вспомнить, и сейчас хочется заткнуть уши.

Тем не менее, Мори-сэнсэй продолжал отважно переводить до конца урока. Завершив последний абзац, он вновь обрёл прежнее спокойствие и, будто сразу забыв о своих мытарствах, невозмутимо попрощался с учениками. Едва он ушёл, в классе началась вакханалия: с диким хохотом мы повскакивали с мест, нарочно грохоча крышками парт, а некоторые, вспрыгнув на кафедру, принялись передразнивать голос и манеры нового учителя. Не могу не вспомнить и себя – я тогда был старостой: окружённый одноклассниками, я бросился указывать, где Мори-сэнсэй ошибся в переводе. Действительно ли он ошибался? Увы, я просто строил из себя умника и понятия не имел, о чём говорю.



Прошло несколько дней. На большой перемене мы компанией одноклассников собрались на песчаной площадке с гимнастическими снарядами, где, подставив спины в шерстяных школьных пиджаках тёплому даже зимой солнцу, болтали о приближающихся экзаменах.

– Раз-два! – выкрикнул Тамба-сэнсэй, висевший вместе

с учениками на турнике, и прыгнул на песок. Перед нами выросла его крепкая – он весил под семьдесят килограммов – фигура, без пиджака, в одном жилете и спортивной кепке на голове.

– Ну, как вам Мори-сэнсэй? – спросил он.

Тамба-сэнсэй тоже преподавал английский, но, поскольку любил спорт и вдобавок был искусным декламатором классической поэзии²⁹, пользовался популярностью даже среди заводил школы – кэндоистов и дзюдоистов, которые английский ненавидели. Поэтому один из тех самых заводил, вертя в руках бейсбольную перчатку, ответил без привычного апломба:

– Как сказать... он не очень... Все говорят, он английский не очень хорошо знает...

– Хуже, чем ты, что ли? – снисходительно хмыкнул Тамба-сэнсэй, платком отряхивая с брюк песок.

– Чем я – лучше.

– Ну так в чём проблема?

Ученик, почесав бейсбольной перчаткой затылок, принуждён был умолкнуть. Но вступил другой, успевавший по английскому лучше всех.

– Сэнсэй, но ведь многие из нас собираются продолжать учёбу, а потому учителя нам нужны лучшие из лучших, – не

²⁹ Разновидность кэндо – кэнсибу – представляет собой танец-пантомиму под аккомпанемент «сигин», т. е. декламируемой речитативом классической поэзии, поэтому занятия кэндо нередко включают в себя и практику сигин.

по возрасту серьёзно возразил он, поправляя очки с толстыми стёклами.

– Всего на один семестр – велика ли разница? – по-прежнему беззаботно усмехнулся Тамба.

– Значит, Мори-сэнсэй будет преподавать у нас только семестр?

Тамбе вопрос не понравился. Как опытный педагог, он ничего ответил, а вместо этого, сняв кепку, энергично отряхнул с короткого ёжика волос песчинки и обвёл нас взглядом:

– Мори-сэнсэй уже немолод, он привык вести себя по-другому. Сегодня утром я видел его в трамвае – он сидел в самой середине, а когда захотел выйти, закричал изо всех сил: «Кондуктор! Кондуктор!» До того смешно – сил нет. Необычный человек, ничего не скажешь. – Тамба искусно перевёл разговор в другое русло. Нам тоже было что рассказать о странностях Мори-сэнсэя.

– А когда дождь идёт, он с европейским костюмом гэта надевает!

– А видели у него на поясе белый свёрток? Это же его обед!

– А мне говорили – когда он в трамвае за поручни держится, на перчатках у него дырки видны!

Подобные глупости кричали мы наперебой, со всех сторон обступив Тамбу-сэнсэя. Не устоял перед искушением и сам учитель: когда гомон вокруг достиг пика, он, вертя на пальце кепку, возбуждённо выпалил:

– Это ладно! А вот шляпа у него такая старая!..

Ровно в этот момент у дверей двухэтажного школьного здания, буквально в десяти шагах от спортивной площадки, возникла сухонькая фигура невозмутимого Мори-сэнсэя в шляпе-котелке, привычно теребившего лиловый галстук. У входа возились младшие ребята – наверное, первоклассники; увидев учителя, они тут же бросились ему навстречу и вежливо приветствовали. Мори-сэнсэй замер на залитых солнцем ступеньках у входа и, приподняв котелок, с улыбкой поздоровался в ответ. Нам всем почему-то стало неловко; мы притихли и посерьёзтели. И только Тамба-сэнсэй, как видно, был слишком пристыжен и растерян, чтобы просто умолкнуть.

– Шляпа-то старая, – повторил он. И вдруг, слегка высунув язык, быстро надел кепку, развернулся и с криком: «Раз!» – забросил обтянутое жилеткой плотное тело на перекладину. Там он перевернулся вниз головой, высоко вытянув ноги, после чего, крикнув: «Два!» – вновь кувыркнулся на фоне синего зимнего неба и легко уселся на турник сверху. Столь нелепый способ загладить неловкость, конечно, вызвал у нас новый приступ смеха. Ученики на спортивной площадке отвлеклись от обычной болтовни, чтобы наградить героя аплодисментами и улюлюканьем, будто бейсбольную команду на стадионе.

Разумеется, вместе со всеми хлопал и я – одновременно чувствуя к рассевавшемуся на перекладине Тамбе сильнейшую

неприязнь. Это не значит, что я сочувствовал Мори-сэнсэю: ведь аплодисментами я косвенно выказывал нелюбовь и к нему. Сейчас, анализируя себя тогдашнего, я думаю, что осуждал Тамбу за его моральные качества, а Мори – за недостаточные познания. Можно даже сказать, что после слов Тамбы про старую шляпу я невзлюбил Мори ещё откровеннее и потому, хлопая в ладоши, гордо оглядывался через плечо на здание школы. А там, словно зимняя муха, выползшая погреться на солнце, по-прежнему неподвижно стоял на ступеньках наш учитель, сосредоточенно наблюдая за невинными забавами первоклашек. Эта шляпа-котелок, этот лиловый галстук... тогда картина казалась мне смехотворной, но почему-то я не могу забыть её до сих пор.

С момента, как Тамба допустил свою оплошность (оплошность ли?), презрение, которым класс с первого дня проникся к Мори-сэнсэю из-за его одежды и манеры преподавания, только укрепилось. Не прошло и недели, как однажды утром случился такой эпизод. Снег, валивший с предыдущего вечера, полностью покрыл черепичный навес над спортивной площадкой. В классе, однако, стояла печь, где пылали уголья, и потому на окнах снег таял, не успевая наполнить комнату своим голубоватым сиянием. Подставив к печке стул, Мори-сэнсэй, как всегда воодушевлённо, тонким го-

лосом объяснял стихотворение Лонгфелло «Псалом жизни». Разумеется, никто не слушал его всерьёз – а сидевший рядом со мной парень из компании дзюдоистов, подложив под хрестоматию подростковый журнал «Мир героев», с увлечением читал приключенческий роман Осикавы Сюнро.

Так прошло минут двадцать или тридцать – пока Мори-сэнсэй не встал и не пустился, оттолкнувшись от стихов Лонгфелло, в рассуждения о жизни и её тяготах. В чём была их суть, я забыл: кажется, он говорил о чём-то своём. Помню лишь, как он, суется и размахивая руками, точно птица без перьев, сокрушался:

– Вы пока не знаете жизни. Не знаете. Думаете, будто знаете – но ошибаетесь. И в этом ваше счастье. Поймёте, когда доживёте до моих лет. Жизнь – штука тяжёлая. Много трудного в ней. Вот я, например, – у меня двое детей. Им нужно учиться. А чтобы учиться – для этого... для этого надо – платить за обучение. Да. Платить за обучение. Потому-то я и говорю – много трудного...

Быть может, он и не хотел жаловаться на жизнь, но слова его звучали именно так – и мы, будучи школьниками, конечно же, его чувств понять не могли. Напротив, мы быстро нашли в этих сетованиях повод посмеяться и стали потихоньку хихикать. На сей раз смешки так и не слились в общий хохот: изношенная одежда учителя и выражение его лица будто служили наглядной иллюстрацией к тяготам жизни, о которых предостерегал его пронзительный голос, и это поневоле

вызывало сочувствие. Зато вскоре, отложив «Мир героев», с места поднялся мой сосед-дзюдоист.

– Сэнсэй, мы на уроке для того, чтобы вы учили нас английскому. Без этого нам здесь делать нечего. Если и дальше будут разговоры на посторонние темы, я пошёл на спортивную площадку, – заявил он, старательно изображая недовольство, и плюхнулся на место. Я в жизни ни у кого не видел такого лица, как у Мори-сэнсэя в тот момент. На пару мгновений он застыл, где стоял, у печки, с полуоткрытым ртом, уставившись на дерзкого ученика. Наконец коровьи глаза приобрели умоляющее выражение, и он, схватившись за галстук, закивал лысой головой.

– Простите. Это моя вина, я прошу прощения. Конечно, вы здесь, чтобы учить английский. Я виноват – я не учил вас. Простите. Приношу свои извинения. Мне очень жаль, – повторял он, улыбаясь так, будто вот-вот заплачет. В падавших сбоку красноватых отсветах пламени было ещё сильнее заметно, как блестит вытертый сюртук на плечах и поясище; если уж на то пошло, то и лысина учителя при каждом поклоне сияла, как начищенная бронза, ещё сильнее напоминая яйцо страуса.

Тогда мне показалось, что это жалкое зрелище доказывает, как низменны мотивы учителя: он готов заискивать перед учениками, боясь потерять работу. Вот почему он в школе – не оттого, что хочет учить, а ради жалованья. Сам себе надумав эту малопонятную причину для негодования, я

теперь презирал Мори-сэнсэя не только за старый костюм и недостаточную компетентность, но и за его мотивы; облоковитившись на хрестоматию, я беззастенчиво смеялся над учителем, стоявшим у печки, будто на костре – и физически, и морально. Разумеется, я был в этом не одинок. Что до возмущённого дзюдоиста – тот лишь глянул мельком, как Мори-сэнсэй побледнел и стал извиняться, и с хитрой улыбкой вернулся к роману Осикавы Сюнро.

До самого звонка Мори-сэнсэй, ещё более растерянный, чем обычно, изо всех сил старался переводить несчастного Лонгфелло. «Life is real, life is earnest³⁰», – читал он, будто умоляя о чём-то, и с бледного лба градом катился пот; у меня в ушах до сих пор звучит его срывающийся голос. Но чтобы расслышать в нём одном голоса множества несчастных, требовалось куда больше мудрости, чем было тогда у нас. Многие в классе скучали, кто-то откровенно зевал. Тщедушный Мори-сэнсэй, стоя у печки и не обращая внимания на снегопад за окном, продолжал выкрикивать, размахивая хрестоматией, словно в голове у него заело шестерёнки: «Life is real, life is earnest – life is real, life is earnest!»



Семестр закончился, и больше Мори-сэнсэя мы не виде-

³⁰ «Жизнь правдива! Жизнь сурова...» – строчка из стихотворения Г. У. Лонгфелло «Псалом жизни» в переводе О. Н. Чюминой.

ли, что нас совершенно не опечалило и даже не то чтобы порадовало – мы остались равнодушны. С тех пор минуло семь или восемь лет, я успел поступить в старшую школу, потом в университет; чем больше я вырослел, тем реже вспоминал о существовании учителя Мори и ничуть об этом не жалел.

Однажды, осенью того года, когда я окончил университет... впрочем, это было уже в начале декабря, когда ивы и платаны на бульварах шумели жёлтыми листьями, в туманный вечер после дождя.

Мне наконец удалось найти в букинистических магазинах Канды пару книг на немецком – их стало трудно заполучить, когда в Европе началась война, – и я, прикрываясь воротником пальто от пронизывающего холодного ветра, шагал по улице. Очутившись перед большим книжным магазином «На- канисия», я вдруг почувствовал, что хочу посидеть в оживлённом заведении и выпить чего-нибудь горячего – и зашёл наугад в первое попавшееся кафе.

Оно, однако, оказалось совсем маленьким и пустым. Внутри не было ни единого посетителя. Позолоченные сахарницы на мраморных столиках отражали холодный электрический свет. Ощукая себя обманутым, я выбрал место у зеркала. Я попросил кофе и, вспомнив, что у меня есть сигара, раскурил её – правда, не раньше, чем извёл несколько спичек. Вскоре передо мной появилась чашка дымящегося напитка, но настроение не улучшилось – на душе было так же мрачно, как на улице. Помимо всего прочего, в букини-

стическом я купил один известный философский трактат – но шрифт в книге был мелкий, и, как мне ни хотелось поскорее приступить к чтению, при попытке сделать это в кафе заболели глаза. Ничего не оставалось, кроме как, откинувшись на спинку стула, пить свой бразильский кофе, курить гаванскую сигару и бесцельно разглядывать отражение в зеркале перед носом.

Там в холодном резком свете, будто декорации на сцене, виднелись лестница на второй этаж, противоположная стена, выкрашенная белым дверь, афиши концертов – а кроме того, мраморный столик, большой горшок с сосной, люстры на потолке и массивный газовый камин, выложенный изразцами. Около него столпилось несколько официантов, которые о чём-то беседовали. И тут... покончив с осмотром интерьера, я перевёл взгляд на болтавших официантов и с удивлением заметил, что все они обступили единственного гостя за столиком. Сперва я, видно, не обратил на него внимания, подсознательно приняв за повара или управляющего. Но изумило меня другое. В зеркале отражался только профиль, но и блестящая, как страусиное яйцо, лысая голова, и затёртый, выцветший сюртук, и неизменный лиловый галстук сразу дали мне понять – передо мной Мори-сэнсэй.

Я подумал о годах, прошедших с нашей последней встречи. Между школьным старостой, который штудировал хрестоматию, и молодым человеком, который сейчас пускает клубы сигарного дыма, была, безусловно, огромная дистан-

ция. Но над Мори-сэнсэем, пережившим свою эпоху, все-
сильное время было уже не властно. Вечером за столиком
кафе, окружённый официантами, он выглядел абсолютно так
же, как с утра в классной комнате перед школьниками. Да-
же лысина не изменилась. Даже лиловый галстук. И пронзи-
тельный голос... кстати, если уж на то пошло – этот пронзи-
тельный голос, похоже, деловито что-то объяснял. Я неволь-
но улыбнулся и прислушался, забыв о своём дурном настро-
ении.

– Смотрите, прилагательным управляет вот это существи-
тельное. «Наполеон» – имя человека, а значит – существи-
тельное. Понятно? Теперь смотрим, что стоит сразу за ним.
А сразу за ним... знаете, что это такое? Вот вы – сможете
назвать?

– Относительное... относительное существительное, –
проямлил один из официантов.

– Какое же это относительное существительное? Ничего
подобного. Может, относительное местоимение? Вот! Отно-
сительное местоимение. Используется вместо слова «Напо-
леон». Понятно? Местоимение – значит «вместо имени».

Судя по диалогу, Мори-сэнсэй учил официантов англий-
скому языку. Я передвинул стул и посмотрел в зеркало с дру-
гого ракурса. И действительно, на столе у них лежала откры-
тая книга, похожая на хрестоматию. Учитель время от вре-
мени тыкал в неё пальцем и без устали что-то растолковы-
вал. В этом смысле он тоже ничуть не изменился. Только об-

ступившие его официанты, в отличие от школьников, слушали суетливые объяснения заинтересованно, и глаза их горели энтузиазмом.

Какое-то время понаблюдав в зеркале за происходящим, я ощутил, как в груди рождается тёплое чувство к Мори-сэнсэю. Подумалось, не стоит ли подойти и поздороваться – сказать, что я рад увидеть его спустя столь долгое время. Но я рассудил, что он преподавал у нас всего семестр и сейчас, в другой обстановке, наверняка меня не вспомнит. А если и вспомнит... Я вдруг, как наяву, услышал недобрый смех, которым мы его награждали, и понял, что проявлю больше уважения, если не стану обнаруживать своего присутствия. Кофе был допит, и я, выбросив окурок сигары, постарался бесшумно подняться из-за столика – но, видимо, всё равно привлёк внимание, потому что Мори-сэнсэй обернулся, и я вновь увидел под грязным отложным воротником знакомый лиловый галстук. Коровьи глаза на мгновение встретились в зеркале с моими. Но, как я и ожидал, узнавания во взгляде не мелькнуло – только обычное жалобное выражение.

Не поднимая более глаз, я взял из рук официанта счёт и подошёл к стойке у входа, чтобы расплатиться. Там со скучающим видом стоял знакомый мне метрдотель с расчёсанными на аккуратный пробор волосами.

– Вон там человек занимается английским с персоналом. Это хозяева кафе его попросили? – поинтересовался я.

– Нет, хозяева не просили, – равнодушно ответил метр-

дотель, продолжая смотреть на улицу. – Просто приходит сюда каждый день и учит. Он вроде раньше английский преподавал, а сейчас уже старый, на работу не берут, вот он и убивает здесь время. Весь вечер с одной чашкой кофе сидит, так что нам выгоды немного.

Услышав это, я снова увидел мысленным взором умоляющий взгляд учителя. Ах, Мори-сэнсэй! Только тогда я начал понимать его благородную натуру. Если бывают на свете прирождённые педагоги, то он – один из них. Преподавать английский для него – всё равно что дышать, он не может остановиться ни на секунду, а если вдруг придётся – потеряет тягу к жизни и увянет, словно растение без воды. Вот почему он каждый день приходит сюда пить кофе – им движет потребность учить, а совсем не скука и не желание «убить время», о которых говорил метрдотель. Теперь мне было стыдно за своё непонимание: ведь мы сомневались в искренности Мори-сэнсэя, насмехались над ним, твердили, что он работает ради денег. Как он, наверное, успел настрадаться за свою жизнь от тех, кто приписывал ему низменные мотивы! И при этом оставался всё таким же, невозмутимым в своём лиловом галстуке и котелке – бесстрашный, точно Дон Кихот, неутомимый рыцарь английского языка. Лишь глаза его порой умоляли учеников – а может, и целый мир – о сочувствии, как бы ни было ему больно об этом просить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.